



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

891.798

В295па

Павло Барвінський
(Ізраїльтехко).Жариси й
Оповідання.

ТОМ ПЕРШИЙ.

1.—Титарь. 2.—Мазепа 3.—Аблакат Маренич. 4.—
Снівачка Варька 5.—Гастрольори. 6.—В вагоні. 7.—
Американці. 8.—На занежаний шові 9.—Незвичайна
метаморфоза. 10.—В лісі. 11.—Що снилося Абасу
12.—Про що розповідало море.



ПОЛТАВА.

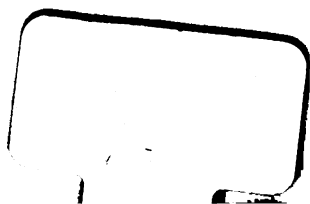
Елект. друкарня Ф. Шиндлера, Кузницька вул., свій буд.

1907.

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



?

23

✓

Ч. 1999

BARVINSKYI, PAUL

Павло Барвінський

(Ізраїльтяк).

НАРИСИ



Й ОПОВІДАННЯ.

ТОМ ПЕРШИЙ.

1.—Титарь. 2.—Мазепа 3.—Аблакат Маренич. 4.—Співачка Варька 5.—Гастрольори. 6.—В вагоні. 7.—Американці. 8.—На занехаяній ниві. 9.—Незвичайна метаморфоза. 10.—В лісі. 11.—Що снилося Абасу 12.—Про що розповідало море.



ПОЛТАВА.

Елект. друкарня Ф. Шіндлера, Кузнєцька вул., свій буд.

1907.

891.798

PE95 na ..



П. Барвінський.

37

Титарь.

Присвячую мійому любому синкові Володі.

Незадовго до схід сонця мене розбуркав лемент, що з двору, через одкриті балконні двері, доносивсь в мою спальню.

— Кажуть тобі, що він ще спить! Якого ж греця прешся?!—на все подвір'я зіпала наша покоївка Настя.

— Ну, що ж, що спить? Аби не вмер; то мертвого вже не підіймеш, а хто спить, то й розбудить можна,—почулась філософська відповідь мого звичайного компаніона по охоті, одставного бомбардіра Хведора Годованика.

— Ну, не ліз же, кажу, в горниці, а то, їй-Богу, так оцією щіткою й дам по пиці!

— Ну-ну... Ти не дуже губу розпускай!—приgrimнув уже з погрозою Хведір.—А то, як візьму за „шільона“ та поверну по своєму, так тільки фальборки замелькають! Я тобі живо покажу фрунтову виправку!

— Руки короткі!

— Нічого! До твого „шільона“ як небудь допнусь!

— Не ліз, ще раз тобі кажу! А то так і огрію щіткою по плечіх! Я не подивлюсь на те, що ти „барбандір“, а так і шелесну!

— Та що ти сказала, чи що? З ким ти губу розпускаєш?! Що я тобі свинопас який, чи що?! Наділа на себе оті фальборки, так думаєш уже, що палею зробилась? Не на „хвертип'янах“ граєш, а з щіткою он ходиш! Зараз же піди розбуди мені Аркадій Павловича, а не хочеш, так геть к бісу, я сам піду! А то аж забурчиш туди під три чорти!

— Господин „бонбандер!“ Та що ви з нею царимонитесь? За хвіст її та на сонце!—почувся від конюшень голос машталіра нашого Демка.

Знаючи вперту натуру Хведора, підперту до того ж авторитетною порадою Демка, я поспішив скоріше перервати суперечку, бо більш ніж певен був у тім, що дипломатична пересправа уїдливої Насті з бомбардіром доконче перейде у війну. Накинувши мерщій на плечі ліжник, я вийшов на балкон як раз у пору: в нижніх дверях, узброєна щіткою, з рішучим видом стояла Настя; а Хведір, представивши свою рушницю до стовпа, узброєний одними кулаками, з поглядом, що не віщував нічого путнього для Насті, прямував уже на штурм. Демко, схилившись на лопату, з цигаркою в зубах і з видом Мефістофеля, зготовився бути свідком бою, тримаючи при цьому цілковиту нейтральність.

— Що ви тут підняли гармидер?!—ці до кого особисто не обертаючись, приgrimнув я на них з балкона.

— Та як же, Аркадій Павлович?! Ще позавчора-ж ви мені сказали, щоб я зайшов за вами сьогодні вдосвіта..... От я прийшов і більш ніж з пів години кландаю її анахтему, щоб розбудила вас! А вона, бодай її чорти по спині гладили..... Здрастуйте!—нежданно перервав мій Хведір свою річ, мабуть згадавши, що забув в запалі привітатися зо мною.

— Так ти так би й казав, бісова ти мацапура! А то прешся немов би той ведмідь на вила! Подумаеш: цяця яка?! „Барбандір!“—залопотала з свого боку Настя.

— Та мовчи вже хоч тепер, чортова ти потороча! Тьфу! не стерпів, щоб не сплюнуть Хведір.

— Іди геть за своїм ділом!—приgrimнув я на Настю.

— А справді, Аркадій Павлович,—скидаючи картуза, не стерпів навіть і Демко,—настояща, скажу вам, „мармазеля!“ Так і налазе на те, щоб ляпаса їй дати..... Ну, й чортове ж насіння!—додав він грізко і скинувши лопату на плече, потяг на задній двір.

— Посидь, будь ласка, Хведоре. Пожди трохи, я зараз одягнусь тай підем.

— Добре! Тільки ви скоріш, Аркадій Павлович, а то як почнете ще чаї там розпивать, то й до обіду не виберемся з дому!

— Добре, добре... Я зараз!

— Та-а... слухайте сюди: не беріть з собою нічого на закуску. Позавчора я стрівся з Якимом Степановичем, так прохав, що як будемо з боку Вербівки на охоті, то щоб на обід заходили до нього.

— Ну це й гаразд. Легше буде йти без провіанту. Зайди ж на кухню та скажи, щоб нагодували Льору, а я зараз.

Знаючи нетерплячість Хведора, я почав мерщій збиратись на охоту. Патрони були понабивані і все що слід було в порядку, так що мені зоставалось тільки вмиться і вбраться в свої ловецькі причандали, що я й зробив небавом. Вийшовши на двір і гукнувши з кухні Хведора, ми вийшли з ним на вулицю.

— Ходімте краще городами, Аркадій Павлович; городами далеко ближче, ніж вулицею йти. А там прямо й почухраємо на попівські озера.

— Еге-ж... Чи не вилає ще з позаранку жіноцтво, щоб не топталась по городах?

— Та там-же скрізь в кінці городів стежка... Та грець їх забери! Нехай хоч і поляпають дурними язиками; що нас відбуде од того, чи що? А слободою йти, це почитай що з веротву кроку буде!—І він рішучою ходою направивсь до городів.

Не вспіли ми на них ступити, як почалась звичайна сторія: не дивлячись на ранню пору, жіноцтво вже скрізь копалось по городах і на Хведорову голову посипались усякі пожадання, починаючи з батька-матері й кінчаючи стонадцятью болячками у власну спину за те, щоб не толочив огородини. Дякуючи моїй присутності, Хведір тільки

бурчав собі під ніс, спльовуючи при надто виразних епітетах розсержених жінок.

Треба знать, що Хведір був самий непримиримий ворог не тільки для своїх, але мало що не для всіх жінок окружних сел. Причин цьому було багато, але найголовніша з них, здається, була та, що він, блукаючи по всіх усядах як стрілець, часто в літню і осінню пору під голодний час, вчиняв ревізію чужим городам і садкам, безплатно користуючись при цьому потрібним для себе фуражем.

Супровожаємі з усіх сторін приємним пожаданням, ми сьак-так вибралися за село. Тут Хведір на хвилину зупинився.

— Знаєте що, Аркадій Павлович?

— А що таке?

— Ідїть ви прямо по оцій межі. Як вийдете на Тернівську греблю і як що мене не буде там,—то почекайте трохи.

— А ти?

— А я на хвилину забіжу тут до однієї жінки, до Явдохи Байцурки. Зовсім забув.... Учора поминився тай забув!

— Що там таке?

— Та в неї на щоці лишай прикинувсь, так просила одшептать.

— От цього ще тільки бракувало! Зібрались на охоту, а замість того будем лишай бабам одшптувать? Це можна й иншим часом.

— Так треба до схід сонця.

— Ну, так тепер уже пізно.... Он бачиш сонце показалось.

Хведір скинув з голови бриля, подививсь на сонце і мабуть розміркувавши, що для лічення лишая час справді вже пройшов, знов надів його на голову і, підтягнувши пояс, коротко промовив:

— Ну, ходить!—і вслід за цим рішучою ходою направивсь до болота.

Дивна річ! Не дивлячись на всю неприязнь до себе з боку майже всіх жінок, Хведір про те лічивсь між ними самим сталим авторитетом по часті медицини.

Проблукавши годин з п'ять по комишах і по болотах, ми непримітно відійшли од дому верстов з десятків і в обідню пору були вже у Вербівці з заміром зробити візиту шановному Якимі Степановичу і за одно вже й пообідать в нього.

Господа Якіма Степановича Петренка, або по вулицьному Ласуна, стояла мало що не проти церкви. При спогляді на неї, вона сама собою визначала, що хазяїн її дуже заможний чоловік. Воно так справді й було. Декотрі з селян, що знайомі ближче з ним, балакали, що Ласуна і в 20 тисяч не вбереш. Але що цікаво, так це те, що Яким Степанович останніми часами і за малу годину оказав свою заможність. Розбагатів він не так, як найбільше багатіють всі так називаємі „скоробогатьки“, що деруть з живого й з мертвого і яких простий наш народ йменує „глитаями“, а зовсім чесним побитом. Не можна було сказати й того, щоб він мав великий розум, або визначався практичною догадкою,—далеко ні! Попросту фортуна повернулась до нього лицем, і він успів її поцілувать у пору—от і все... А там уже пішло по приказці, як кажуть, що: „багатому чорти й дітей колишуть!“

На дванадцятому році зоставсь Петренко без батька й матері, круглим сиротою. Велике його щастя було в тім, що він успів доти хоч трохи вивчить грамоту, учившись в земській школі. Все, що досталось йому в спадщину від батька: корова, двоє коней, овечата і дещо инше опікуни попродали і виручену суму до 200 карбованців положили до зросту його в банк. А хата, клуня і комора—так і зостались догнивати без призору. Малого Якимка взяв до себе якийсь то далекий його рідич, котрий, промишляючи лісамь і будучи сам неграмотний, потребував дешевого канторщика. За короткий час Якимко дуже добре пристроївсь до діла і дійшовши до літ, тільки про те й ду-

мав, щоб самому спробувати щастя в нім. Скоро трапилась нагода: його родич нагло вмер. Якимко, котрому минав вже 22-й рік, посвячений своїм родичем у комерческі тайни; знаючи всі міста на збуток лісного матеріялу, наваживсь хоч і в невеличкім розмірі продовжати діло свого принципала. Взявши з банку свої гроші з відсотками і приклавши до них свої десятиричні ощадности з шестисотрублевим копиталом, став молодий Петренко на комерческу дорогу. Дякуючи прихильности до себе пана, у котрого останніми часами його родич купував частками ліс, він, давши 300 карбованців задатку, купив у нього на виплат учасок, що стоїв удесятиро більш. От тут то щастя й прийшло до нього на підмогу. Зараз після цього недалеко того місця розпочали будувать залізницю. Дякуючи їй Якимко й повернув ділами, поставляючи на неї шпали (пороги), бруси й инший матеріял, та так повернув, що по скінченню залізниці звався уже не Якимом, а Якимом Степановичем Петренком, а инколи ще й з додатком „господин“. Років через десять після того, купив він з бок Вербівки в одного панка більш ніж сотню десятин земельки, построїв на ній хутірєць і розпочав своє хазяйство. Трохи згодом перебравшись у Вербівку, він збудував собі великий дом, розвів при ньому сад і зажив, як кажуть, паном на всю губу, зробив ся першим чоловіком на селі, придбав собі шанобу всіх селян і от уже більш десяти років ходив титарем при церкві. Сем'я Якіма Степановича була невеличка: він сам—(жінка його вмерла років п'ять тому назад),—жонатий син і онук Степко, мазунчик діда, хлоп'я років під 13, котрого дідусь мав замір по скінченню школи оддати до гімназії

Прийшовши до Петренка, я застав його сердитим і стурбованим аж надто, що для мене було ясным із того, що Яким Степанович за обідом з таким запалом що хвилі втягував в свій ніс табаку і такими дозами, що я був дуже небезпешний за власний його ніс, який разів по шість підряд видержував стрільбу після таких набоїв. По

обіді я не стерпів, щоб не запитати про причину його турбації.

— Що це ви такий збентежений сьогодні, Яким Степанович?

— По неволі збентежишся, коли ти хочеш на гору, а чортяка тебе за ногу! Пі-і-ю-іть!..—І ціла пучка табаки з нігтя Якіма Степановича перемістилась в його ніс.

— Та в чім же річ?

— А річ у тім, що Бог наслав на нас, мов на єгиптян, кару!

— Яку кару?

— А от нашого попа, отця Никандра...

— Що це ви Якіме Степановичу! Ви були з ним такі приятелі?...

— Який це дурень вам сказав? Для таких приятелів у мене завжди ворота на колодці! Хіба з ним можна жити по людські? Тож не чоловік, а, хай Бог простить, погань... А-апчхи! Правда! Господи, прости мое согрішення, що скажеш!—промовив мій хазяїн, перехрестившись на божницю.

— Та з-за чого в вас зайшло діло?

— Та з-за чого-ж там? Вертить усім, неначе не при хаті згадуючи,—знов осінив себе хрестом хазяїн,—чорт в болоті! Апчхи! апчхи!.. А-апчхи-чхи!..—Зробивши цю потрійну сальву, Яким Степанович знов набив свій ніс.

— Ви ж знаєте, що ми порішили приробить у своїй церкві два приділи, щоб вона була в нас трьох-престольна. Ну, добре! Зробили все, як слід: постановили приговора, взяли розршення од владики, зібрали сяк-так з гріхом пополам ті гроші на будівлю, та, Богу невимовно, я й своїх таки пожертвував карбованців з 500; ну, та не в тім річ! Дійшло, бачте, діло до-о-о... Апчхи! діло... А-апчхи! А щоб тебе грець з твоїм чханням... А-апчхи-чхи! Тьфу! Хай ти сказисься!—І новий транспорт табаки приготовивсь до пересилки в ніс.

— Ну-ну! Так що-ж далі?—підганяв я Якіма Степановича.

— Та от же слухайте! Дійшло, я ж кажу, діло до того, в честь яких святих найменувати ці приділи? Отут наш панотець і почав морочить мені голову. Я й декотрі з парафіян кажемо, щоб лівий приділ найменувати в честь Архистратига Михаїла (я зараз догадався: сина Якіма Степановича звали Михайлом), а панотець наш гне на якусь то Параскеву-П'ятницю! Та що це кажу паноче? Це ви якусь видрали таку святу, що рідко хто й чував про неї... Параскева та шей П'ятниця! Так ото, каже, послушайте! А коли хочете більш узнать про неї, то подивіться краще в четь-мінеї! А річ, бачте вся в тім, що матушка наша попадає, як знаєте, зоветься Параскева. Ну, а нам то що до того? Матушка жила-жила та й вмерла, а наша церква й буде П'ятницею зватися? Апчхи! А то може ще-е... Апчхи!.. А-а-апчхи!! Ну, тай табаку ж продають, бодай їх грець убив! Аж у живіт... А-апчхи-чхи!!—І окуляри з носа Якіма Степановича опинились на долівці.—Туди к бісу!—додав він, нагинаючись за ними.

— Так виб же йго як небудь перепросили.

Та де вам? і слухати не хоче! Я вже й так і сяк, а він одно своє! Я йому кажу-говорю: „Паноче! касательно таких інструкцій требаб на сході заявить!“ „А що мені, каже, ваш сход? Може б ви здумали в честь якого небудь там Терешка найменувать приділа, то й повинен я по вашому робить?“ „Та воно положим, кажу, наноче, що Терешко, що ваша П'ятниця одно одного варт!—Тут Яким Степанович знов було хотів набить своїм товаром носа, але флакончик з під пахоців, в яким була в нього табака, був зовсім вже порожній.—Позавчора ми прямо таки полалися з ним!—додав він, ховаючи флакончика в кишеню.

— І все із-за цього?

— А вжеж! „Ви подумайте кажу, паноче: на віщо ж це похожим буде? Головний престол в честь Варвари Великомучениці й був; цього змінити вже не можна. Правий

приділ у обчества і скрізь там склѳпотали, щоб наректи в честь Ганни-Пророчиці.“ У ньогож, бачте, дочка на відданню, Ганною зветься, ніякий біс не свата, так ото бач і думає, чи не pomoже сьвята Пророчиця збуť її з рук? Ну, добре! І я й громада згодились на це. А тепер — на тобі! І на третього престола якусь то П'ятницю сажають! Це ж у нас буде, кажу, не церква, а якийсь бабинник! Та де це, кажу, видано, щоб жіночий пол, хоч би й з святих, та перевагу взяв над чоловічим? Це, кажу, паноче, нас і люде засміють, скажуть: „бач, бабії і церкву бабську збудували!“ „Дурням, каже, сміятися не забороним!“ „Та тут, кажу, паноче й умні зареочуть над таким жіночим царством.“ „Та що ви, каже, пристали до мене, не мов би та смола?! Ну, нехай ужеб дурний народ балакав, а то й ви тудиж, як той баран, не можете одбитись од отари!“ „Деж це ви, кажу, паноче, таку парафію стрічали, щоб баран та титарем ходив?“ „Уперше, каже, бачу тільки тут!“ „Так щож це, кажу, по вашому—то я баран?“ „Ну, каже, з вашого питання тепер я добре бачу, що ви не тільки що баран, а прямо таки „азінус“ упертий!“ Ну тут вже й я не стерпів. „Дозвольте, кажу паноче, запитать вас: що то означа по вашому той „азінус“ упертий?“ „Азінус“ то, каже, єсть така розумна тварь, на котрій воду люди возят! От що!“ „Ну, ні, кажу, отець Никандр! На мені води не повезеш! Я як почну хвицати, то й бочку к бісу в шент поб'ю! Я, кажу, хоч і „азінус“, а добре бачу куди ти гнеш! Тільки знай одно, що ти свої П'ятниці не впреш до нас у церкву! Я зараз же подам до архирея скаргу касательно всіх оцих інструкцій! Це, кажу, тобі, отець Никандре, не в старій твоїй парафії у Лаптівці у москалів. Ми знаємо де й архирей живе і як писать до нього, тай доказательства для консисторських у нас ще маються, хвалити Бога!“—При цьому Яким Степанович ударив себе по боковій кишені.

— Ну, як же ви—так ні на чім і не скінчили? Так таки верх і зостанеться за Параскевою, а не за

архистратигом Михаїлом?—Запитав я знову, щоб узнать кінець історії.

— Скорійш у мене отут волосся виросте,—при цьому Яким Степанович поляпав себе рукою по долоні,—ніж найменує він лівий приділ в честь своєї любезної П'ятниці... От що! Побачим ще, чи вдержиться й Ганна-Пророчиця у правім?! Я вже тут составив усе чисто, касательно всіх оцих інструкцій,—додав він многозначно, постукавши в свого лоба пальцем.—Я його так резпишу перед владикою, що довго буде чхать, гірш ніж після табаки!—Спомянувши про табак, він поліз у кишеню і витяг звідти порожній свій флакон, глянувши на котрий, якось раптом скинув руки до гори і, тупнувши ногою, крикнув так, немов би перед ним знаходивсь сам отець Никандр: „Я тобі дам „азінуса“ Я тебе запроторю вугіля товкти у монастирь!“—У слід за цим, ударивши флакончиком по нігтю і нічого звідти не добувши, він промовив уже з-тиха: „ну, тай скорож табака сходить... Сьогодні вранці повнісіньку насипав“.

Яким Степанович пройшовся разів зо три по кімнаті і, мабуть про щось згадавши, круто повернувся до мене:

— Ну, посидьте трохи, а коли хочете то відпочиньте, а я іду на хвилину... Треба полагодити там дещо... І де він забіг, підчихвіст той, Степко?—додав він, глянувши в вікно.—Знаєте що?—знов обернувся він до мене.—Ляжте тут та засніть. поки що до чаю. Я покладаю так, що ви надто стомилися сьогодні?

Я подякував зичливому хазяїнові і почав скидати своє охотничче убрання, щоб відпочить уже як слід після свого блукання.

Яким Степанович, вийшовши у другу сумежну кімнату, довго шамотів там щось папером, мугикаючи про себе якийсь церковний присців. Нарешті чую одчинив вікно.

— Степко! Степане!—розлігся його голос.—І де вона гасає бісова дитина?

— Тут, мабуть забачивши Степка, він промовив зтиха:

— Ти бач, капосне хлоп'я куди забралось? Аж на хлів... Степко! Іди лиш мерщій сюди! Годі тобі по хлівах гасати!

— Трохи згодом чутно було, як увійшов Степко.

— А ну, Степане, годі тобі гасать за голубами, сідай лиш та пиши! Не вік же тобі бути дурним, пора вже й розуму від тебе запитати: слава Богу, три роки в школу ходиш... Пі-і-ю-іть!...—почулося свистіння—знак, що Яким Степанович доповнив запас свого товару.

— Сідай лиш та пиши!

— Що ж писать?—запитав Степко.

— Сідай! я тоді скажу... Або стривай... Піди лиш перше вимий руки.

— Та у мене, дідусю, руки чисті.

— Піди, кажу тобі, помий! Дурне... Ще й цвірінька? Руки чорт батька зна в чому, а ти за таку бумагу будеш ними лапать? Піди зараз!

Степко вийшов і через яку хвилину знов вернувся.

— Ну, тепер носа свого висякай, як слід... А то бач, як у ньому свистить?

— Та то у вас, дідусю...

— От я тобі дам „у вас!“... А-апчхи.—разом з чханням і запотилишник почувся.

— Не базікай, а роби те, що я тобі кажу! Сідай!

— Та я ж уже сижу!

— Ну, тепер пиши... Та позасукував би рукава, а то бач, які вони у тебе чисті: аж блищать.

— Та що ми, дідусю, хіба навулачки будем биться?

— От ти в мене, каторжна дитино, добалакаєшся, що я тобі ще ляпаса вліплю! Присунь стілець до столу ближче!

— Та мені, дідусю, так зручнійше...

— А я тобі кажу: присунь! У-у-у... так і дам! Я краще тебе знаю, як слід писать, а то... А-а-апчхи!

— То сами й писали-б...

— Що ти сказав?! Що ти ска-а-аз... Апчхи! Апчхи-чхи!... А щоб тобі чортяків купа! Саме тоді розбира, коли не треб... А-а-апчхи!!—Яким Степанович пройшовся по кімнаті, потім знов промовив:—Пиши!

— Та що ж писать?

— А тобі навіщо знать про це?

— Та як же так писать, не знаючи про що?

— Я тобі буду „дихтувать“ усе, що треба!

— Та все ж таки треба знать: відкіль, з якої букви починать, як і що? Хоч би сказали: що воно й до кого ця бумага?

— До архирея... Прошення до архирея! Зрозумів?

— Що це ви, дідусю? Це ж завжди батюшка, отець Никандра пише! Його б і попрохали...

— Нічого його прохати... Ми ще краще ніж він напишемо... Пиши! Ну? Та не там починаеш! Починай отут... Та перо спершу оглядів би! Пиши тепер: „Його Високопреосвященству“...

— От уже й не так, дідусю!

— Що там не так?! Пиши те, що я кажу!

— Та я-ж сам бачив ті бумаги, що батюшка писав до архирея. Він заголовок пише без „високо“, а прямо „преосвященству“. Він же єпископом тільки йменується.

— Ну, що ти там бачив, дурний! Пі-і-ю-і-іть... єпис-ко-пом... єпис-ко-пом!—перекривляв Степка Яким Степанович.—Може він і митрополитом буде, почім ти знаєш? Пиши! „Його Високопреосвященству... ви-со-ко-пре“... Куди ти закривив вже к бісу строчку?! Ну?... о-свя-щенс-тву“... Написав?

— Уже!

— „єпископу... е-пис-ко-пу“...

— От сами ж кажете „єпископу“, а пишете „високопреосвященству“.

— Як візьму я хворостину, та як напишу тобі єпископа на... Апчхи.

— Та кажіть уже, що писать далі?

— „Є-пис-ко-пу“...

— Та вже „єпископу“ написано!!

— Ну, не кричи-ж! я не глухий... „єпископу курському і Білоградському... Бі-лог-рад-сько-му... град-сько-му“... єсть?

— Єсть!—по матроському викрикнув Степко.

— „І кавалеру“,—Яким Степанович у слові „кавалеру“ зробив наголос на другім складі“,—многих, різних орденів... мно-гих, раз...“—Гляди капнеш! Струхни перо! „Раз-них орде-нов... Точка. А ну, прочитай, що ти там надряпав?

— „Його Високопреосвященству, єпископу Курському і Білоградському“...“—зачастив Степко.

— Стривай, стривай! Не мимри собі в носа, як той неначе дяк з похмілля, а читай виразнійше!

— „Є-пис-ко-пу Курсь-ко-му і Білог-рад-ському“,—почав уже розтягувати Степко,—„і кавалеру“... Степко зробив наголос на третім складі,—„многих, різних орд“...

— Стривай, стривай! Як ти написав останнє слово?

— „І кавалеру“...

— Тьфу, дурний! Де ти в біса того „кавалера“ видрав, коли я тобі сказав „кавалеру“?!

— Так скрізь же кажуть не „кавалер“, а „кавалер“!

— Так що ж то, по твоєму, архирей такий же жев-жик, як ти, або твій хвершал? В ладішки грать з тобою буде, або польки та кадrellі піде танцювати, чи що, щоб його „кавалером“ величать? Ад же ж дурне! Який то світ настав? Само ні дідька лисого не тямить, а туди ж!.. По своєму спреччається робить! Тільки лист паперу зопсував... Бери другий лист, пиши знову, та не мудруй мені!

— Та навіщо ж його знову переписувати?

— Як то навіщо? На те, щоб твого „кавалера“ к бісу викинути звідтілі!

— Та чим він вам на перешкоді став? Можна ж

і так, і инше прочитати.

— Як це так?

— А так: „кавалеру“ і „кавалеру“.

— Ну, як що можна, пиши далі: „церковного титаря села Вербівки всепочтеннійшая жалоба“...

— Дідусю, а про церкву і не спомянули: якої ж церкви?

— Не перебивай, дурний! Що в нас десять церков, чи що? Він сам знає, як вона зветься. „все-поч-тенній-шая жало-ба...—продовжав він далі.—Написав?

— Єсть!—Знов викрикнув Степко.

— Пиши далі: „сія моя жалоба на Вашого Высоко-преосвященства причт, онаго священника-ерея... е-ре-я... „Пюі-і-юі-тї... „е-ре-я“...

— Та вже написано!

„ерея Никандра Козьмодемьянського... демь-янсь-кого“... В нову строчку! „Понеже оний ерей-священник касательно таких інст-ру-у-к“... Апчхи!

— Та не нагинайтесь! А то прямо на бумагу...—незадоволено замітив Степко, прикриваючи листа рукою.

— „Таких інструк“... Апчхи!

— Та виб уже не нюхали, хоч поки напишем цю бумагу!

— А тобі воно стоїть на перешкодї? „Інстру-у-к...“ Апчхи-чхи!!.. Тьфу! Бодай тобі все лихо... І справді, як нарощне!

— Бач, і слова вже не вимовите за своїм чханням.

— Ну-ну, пиши! Уже пройшло... На чім ми там зо-становились?

— „Касательно таких“...—водячи по бумазі пальцем підказав Степко.

— Пиши далі: „таких інструкцій о нареченні звательства святих... зва-тельс-тва свя-тих... в честь престола... престо-ла“...

Довго ще я чув редакцію цього прошення, в котре безпереч входили такі вирази, як: „касательно таких ін-струкцій“, „ерей-священник“, „П'ятниця й Терешко“. Навіть „баран і азінус“ не були забуті і запосіли в нім

належне місце. Нарешті, втима все таки взяла своє і я заснув неначе вбитий, не дослухавши, на чім воно скінчилось.

Збудив мене до чаю малий Степко. Глянувши на його вимазані в чорнило руки й губи, я сам собі подумав: як то не легко дісталось йому написання того прошення до архирея.

Вийшовши в садок, я побачив у альтані шумівший самовар, але Якіма Степановича не було.

— А де ж дідусь?.. запитав я Степка.

— Дідуся до батюшки покликали нащось-то. Вони казали, щоб ви не дожидали їх пить чай, бо може їм прийдеться забаритися трохи.

— А Хведір де?

— Хведір пішов тут до однієї своєї родички і казав, що зараз прийде.

— Та-ак... Ну, що ж, Степко, будем чаювать удвох.

Не встиг ще я напитися, як слід, чаю, як з'явився Хведір і став приспішати мене скоріш рушати, „а то,— по його власному виразу,— як будём так тут проклаждатися, то запевне, що не встигнемо на льот!“ Тай справді. Сонце таки дуже вже спустилось на захід, так що я рішив послухать Хведора і щоб не прозивати льота, не став уже ждати повороту Якіма Степановича, а наказавши Степкові подякувати дідусеві за привітність, пішов з його гостинного подвір'я.



Тижнів зо два згодом після того, як я був у Якіма Степановича, я зовсім ненароком спіткався з ним у нашій повітовій городі. Тільки що вийшов я з крамниці, де купував собі охотничі причандали, глядь на пішоходах, як раз проти її дверей, стоять мої знайомці: Вербівський батюшка отець Никандр і високоповажаний Яким Степанович. Вони з таким запалом торгувались з перекупкою за лимони, що навіть не закримітили, як я надійшов до них.

— Та ну бо, бісова бабо, бери вже, що дають! Не однуж, або й не дві лимони купуємо у тебе, а цілих два десятки! Якого ж греця царимонисься? Ось глянь: і гузки в них зелені, як та рута!—доказував Яким Степанович, соваючи під самий ніс перекупці лимону.—Зовсім зелені!

Та навіщо ж ви таку взяли? Вибірайте кращі! Менш сорока копійок за десяток не візьму, як хочете...

— Во істинну дурна ти, бабо!—з свого боку урезонював перекупку отець Никандр.—Можна взяти і коповик, аще натрапиш на дурнів; а ми, хвалити Бога, до категорії їх не належим!

— Менш сорока копійок не візьму, паноче!—своє торочила перекупка.—Не вірете, бодай я паски не діждала, коли вони мені самій не коштують більш тридцяти п'яти копійок за десяток! От на тім тижні моя сябриха Івга... Вона он на тім ріжку торгує бубликами... Ви бубличків ще не купували? А то...

— Та що ти нам про бублики торочиш, коли тут за лимони річ іде? Одбирайте, отець Никандр, собі десяток! —рішучо обернувся до панотця Яким Степанович.—Все рівно більш як сім гривень за два десятки—не дамо!

— Ну, хіба тільки для вас!—згодилась перекупка перед таким авторитетним тоном.

— Здрастуйте Якиме Степановичу! Здрастуйте отець Никандр!—обізвався я ззаду.

— А-а... Аркадій Павлович?! От несподівано!—промовив Яким Степанович, стискуючи мокру руку.—Давно ви в городі?

— Ні, сьогодні з ранку. А ви?

— Ми?... Ми вже третій день тут куралесим!

— Чого ж це так забарились?

— Та все по ділам ктитора,—відмовив замість його отець Никандр.

— Та що це ми тут серед вулиці окошувались? Ходімте лиш, Аркадій Павлович, до нас!—запрохав мене Яким Степанович.—Ми тут недалечко остановились в нумерах Квасного.

— Вибачайте, Якиме Степановичу... я хочу зараз їхати з города до дому.

— Та що це ви, Бог з вами! У таку спеку? Над вечір і поїдете! Зайдім лиш, посидим, побалакаєм, закусямо, чайку поп'єм!..—Потім, взявши мене за лікоть, додав конфіденційно зтиха:—мені б цікаво було поговорити з вами касательно деяких інструкцій...

З одного боку це „касательно деяких інструкцій“, а з другого—надзвичайна зустріч отця Никандра з Якимом Степановичем вкупі, після „азінуса“ й „прошення до архирея“ настільки зацікавили мене, що, порішивши відкласти свій виїзд з города, я згодився зайти до них у номер.

— Ну, так ходіте ж, нічого тут гаятись!—і Яким Степанович повернувся, щоб іти.

— Паноче! А гроші за лимони?—зостановила його перекупка.

— А хіба я не оддавав? Отак забалакайся! Це ти, вража бабо, заговорила мене так!—обернувся він до неї, оддаючи гроші.—Я й за вас уже оддам, отче Никандре!

— Воздайте їй що слід... потім порухуємось. Та ходіте вже скорійш, а то черво моє починає вже протест заводити проти воздержанія! Ми сьогодні з самісінького ранку, як напились чаю, тай досі! а ніже, ні єдиної крихти не було ще в роті!—додав отець Никандр, обертаючись до мене.

Яким Степанович за весь цей довгий час ні разу не понюхав. Це визначало, що він знаходивсь в добрім настрою.

— Прийшовши в свій номер, титарь покликав зараз же льокая і звелів йому подати самовар, а сам, нагнувшись до канапки, почав витягати з клунка пляшки й закуски. Скоро ними був заставлений весь стіл. Тут були й кон'як, і вина і очищена, сардини, сир і ковбаса; а по середині всього, на промасляному папері, красувалось фун-

тів зо три паюсної ікри. Така ряснота мене аж падто здивувала.

— Що це ви, Якиме Степановичу, так розкошелились? Немов би з вас хто небудь сьогодні іменини празнує свої!

— Сколь ви догадливі, Аркадій Павлович!—промовив отець Никандр усміхнувшись.—Досточтимійший Яким Степанович більше тижня вже справляє ежедневне торжество.

— Виходить, значить, що я гість у пору? Це добре... А все таки-б цікаво знати: що за причина торжества?

— Мовчіть, отче Никандре!—обернувся до панотця Яким Степанович.—Спершу сядемо за стіл та вип'ємо по чарчині, а тоді вже можна буде об усім і розказати... Тьфу, ти біс його батькові! як же туго забита пляшка...—Яким Степанович ніяк не міг витягти штопором затичку з кон'яку.—А ну лиш, будь ласка, чи не витягнете ви? Ви все ж таки молодший!—додав він, передаючи мені пляшку з кон'яком.

Скоро всі пляшки були відіткнуті, закуски порозкладані і порізані. Ми з Якимом Степановичем сиділи за столом, а панотець щось порався в кутку на стільчику, повернувшись спиною до нас.

— А ну, лиш, отче Никандре, не заставляйте себе ждять!—гукнув на нього Яким Степанович, наливаючи в чарки кон'як.

— Сей мент! От тільки почекайте—я пижі зготовлю...

Трохи згодом отець Никандр повернувся до столу і поставив перед нами блюдечко з нарізаними і притрушеними сахарним піском шматочками лимона.

— По істинні одно великолепіє ця закуска до кон'яку!—порекомендував він, присажуючись з боку нас і витираючи об поли руки.

Випили по чарці, після чого батюшка наліг було на закуски, але Яким Степанович авторитетно заявив, що по першій не закусують і знову, наливаючи чарки, додав:

— Після першої тільки молотники їдять, а ми все ж таки, як кажуть, і на людей похожі!

— Эге ж! Це істинна ваша правда, достопочтеннійший Якиме Степановичу! Після сьогоднішнього дня декотрі з бувших до сього простих людей перешагнули в нову рангу і можуть „по істинні“ лічити себе присовокупленими до порядку „арістос!“ якось то іносказательно промовив отець Никандр, смакуючи лимону після другої чарки кон'яку.

Мабуть примітивши, що панотцеві не в силу вже додержати секрета, Яким Степанович достав флакон, трухнув з нього на нігтя порядну порцію табаки і одправивши її куди слід,—налив чарки утрете і обертаючись до мене, прижмуривши лукаво очі, запитав:

— А тепер знаєте за віщо вип'ємо?

— Та Бог же його зна? Вам видніш! Може за „враги одоленіє“?

Яким Степанович трохи змішався, але оправившись, махнув рукою і сказав:

— Э, Бог з ними, з тими врагами! Нам не з врагами жить, а з добрими людьми. Дурний, я вам скажу, Аркадій Павлович, той чоловік, що слухає лихої ради!

— Мудре і істинне ваше ізреченіє, Якиме Степановичу! „Блажен муж іже не іде на совіт нечестивих!“ Істинна в цім ізреченії глибока скрита, скажу я вам!—меланхолічно скінчив свою цитату панотець, одбатувавши чималий шмат ікри і присунувши до себе чарку з кон'яком.

— Річ, Аркадій Павлович, не в ворогах, а в тій великій благодаті, котра спустилася на мене грішного,—промовив він, перехрестившись на божницю. Мені здалось, що на очі його я запримітив сльози.—Що за оказія трапилася з ним,—подумав я,—що чоловік од радості аж плаче?

— Та що там трапилося з вами, Якиме Степановичу? Не томіть ви Бога ради. Мені так цікаво, що й сказати не можу!

— Така оказія, що... Нехай краще панотець розкаже! Очевидно Яким Степанович був настільки стурбований, що сам не зміг вже передати своєї радості і обернувся за допомогою до панотця.

— Вся суть у тім, Аркадій Павлович,—при цьому отець Никандр врочисто піднявся з місця, підвівши праву руку до гори,— що наш глибокочтимійший Яким Степанович не в примір прочим взискав достойно, по заслугам царською милостю: за свою десятирічну благодворну службу ктитором і за радніє з нею сопряженное, награжден...—тут отець Никандр для пушого ефекта зробив велику павзу—медаллю!

— Медаллю!!—аж викрикнув Яким Степанович.—А спитайте, через кого?

Отець Никандр скромно потупив очі і опустився на стілець.

— А я, дурний, скарживсь... скарж... А-а-пчхи!— Чханья було як раз до речі і допомогло Якому Степановичу укрити сльози кааття за свій непозірний вчинок відносно свого добродія отця Никандра.

— Нічто же в сем преступного не бачу,—з свого боку промовив розчулений отець Никандр.— Я тако-ж учинив вам екую образу! Знаєте приказку Якиме Степановичу: „хто Богу не грішен, а царю не винуват?“ Во грісях роди мя мати моя...—додав він сентенціозно, наливаючи чарки.—А по цьому?—і чарка кон'яку перемістившись куди слід, запевнила мене у тім, що й для отця Никандра не були чужими деякі людськії слабости, хоч з погляду, наприклад, „возбуждающих напитков“.

— Як не кажіть, отче Никандре, а ви проти мене... я... та що й казати?! Отче Никандре! Вибачте мені, Бога ради, дурневі! Спасибі вам щире і за це і... і за Якіма й Ганну—за все!

Останньої дяки я вже ніяк не міг урозуміти: при чому тут Яким і Ганна?

Навпослі діло роз'яснилось і доказало всю великодушність отця Никандра. Лівий приділ удержала таки за собою Параскева-П'ятниця, але за те у правім замісто однії Ганни-Пророчиці—було вже двое: добавивсь ще й Яким. Престол був найменований в честь Іоакима й Анни. Хоч не Михайло-син, так Яким-отець, а все таки не були забуті.

— Ви подумайте, Аркадій Павлович!—після десятої з запалом доказував, стискаючи мою руку, Яким Степанович. Медаль!... А що вона означає? Що вона означає, я вас питаю?! А означає вона те, що я...—при цьому Яким Степанович тричі ткнув себе у груди пальцем,—я, недостойний раб Яким, тепер, так сказати, трохи не такий же єсть „кавалер“, як і архирей!! Та це ж... це ж... А ну лиш ще по одній!

— Во істинну слід ще пропустить по одиниці! *In vino veritas!*—гласить латинська вірша. При цьому панотець витягнув з під кананки ще новий скудель.

Довго ми сиділи за погаслим самоваром, ведучи розмову про всяку всячину, а більш усього про медаль. Коли я виїздив із города, то на дворі вже зовсім смеркло і небо все заволокли давно жаданні хмари. Тихо-тихо було скрізь, неначе в вусі. В природі все притихло, немов би то замерло, боячись нарушити чим небудь пануючу повсюди тишу і тим самим перешкодити давно вже сподіваний дощ. Я став думати про титаря і не знаю вже від чого, але радість Якіма Степановича, тії дитини-діда так вплинула на мене, немов би царська милость, спускаючись на нього, почасти зачепила і мене.

— Блажен, хто може бути доволен малим!—подумав я на сам кінець і, наказавши своїому Демкові їхати шагом, почав дрімать, схилившись до угла свого повоза.



Мазепа.

Дійсна фамилія Микити Петровича була Лудан,---але під цією фамилією він значився тільки в своєму паспорті та в посімейному списку, що ж до його рідної Борисівки і всіх навколо неї хуторів, то для них він більше був звісний під прозвищем Мазепа, або Хрокала. Заїхавши в Борисівку вам довго б прийшлося розшукувати в ній Лудана, але треба було тільки спитати, де живе Мазепа, то вам і мала дитина показала б хату, звісного на всю округу, знаменитого кравця.

Більш ніж пів сотні років особа Мазепа була так тісно з'язана з багато деякими випадками місцевого життя, що не знать його, або не чуть чого небудь про його—було просто таки неможливим. Уже одно обличчя Микити Петровича викликало майже в кожному увагу до нього. Я пам'ятаю Хрокала ще в молодих його літах і для мене він завжди з'являвся ідеалом мужності й лицарства. Високий станом, міцно збитий, з головою, укритою густими кучерями темнорусого волосся, з тонким, з невеличкою горбиною, носом і з величезними, звисавшими майже на груди, вусами—він як дві каплі води скидався, по мойому, на одного з тих колишніх, незабутніх лицарів Хортиці, про котрих говорилось, що „ім і чорт не брат!“ Але що більш усього визначалось в ньому, так це його карі очі. В них стільки було удачі, відваги, молодецтва і щирої веселісти,—що вони прямо таки приваблювали до нього всіх, з ким він мав які небудь відносини.

Чулий на все, веселий товариш, дотепний балакун, гульвіса, завжди охочий „піддержати“ кумпанію,—він був бажаний гість у всякій беседі своїх односельчан. Ні одно

весілля, христини, похорон на селі—не обходились без Мазепи. Щож до „перезви“,—то як що не було проміж її гостей Микити Петровича, то така „перезва“ поклала для себе зовсім недогідним пройти через „базарь“, так як в ній не було вже того, як кажуть французи „слю“, котрий звертав би на неї увагу базарян. Ні пісні, ні танці, ні музика—ні що не в силах було замінить в ній відсутності Мазепи.

Та й не диво!..

Господи мій Боже милий, чого тільки не вигадував Микита Петрович в цьому веселому, завжди напівп'яному весільному обряді? Його вигадкам, при таких okazіях, не було грянниць, і що найголовніш всього, так це те, що він при цьому, ніколи не робив двічі одного й тогож. То придума було які небудь величезні сани, як що діло це тряплялося зімою, приладнає замість полоззів мало не два дуби, настеле на них поміст з дощок, посадить туди всіх гостей вкупі з весільною музикою і запряже у цю махину пар десять, позичених для ції okazії, волів, обклеївши попереду їм роги золотим папером і понав'язувавши на хвості мало не по снопу вифарбуваної у всякі коліри соломи. І сунеться було такий ковчег, керуемий, зодягненим у фантастичне убрання, Мазепою, по вулицях села, супровожасемий юрбою од мала до велика цікавих глядячів, здивованих вигадкою бісового сина Хрокала кравця. То впруба було здоровенний льодаш, запряже в нього передягнине в мужичу одержу жіноцво, а сам, зодягнений у дівоче вбрання, стане на ньому і проїдеться по вулицях села. Звичайне, що така оригінальна запряжка, з стоячою, замісто машталіра, саженною з величезними вжами Семирамидою, справля видатну з ряду геть сенсацію проміж селян. Щож до таких okazій, траплявшихся у літню пору, то тут його вигадки були на стільки різноманітні, що просто таки не наддаються ні до якого опису.

У всіх більш, чи менш значних okazіях, котрі мали

місце в слободі Борисівці, Мазепа, як наче по обов'язку, завжди фігурував своєю парсоною.

Чи трапиться було пожар в селі,—потужная фігура Микити Петровича обов'язково визначається проміж сутолоки, на всі боки сновигавшого, переликаного люду, а його гучний бас, покриваючи весь галас і пожарний гвалт, далеко навкруги розносе його команду.

Чи йде, бувало, ранню весною, церковна процесія з іконами на зелена,—Микита Петрович; тут же, зпереду, з самою кращою корогвою в руках, скрашує своїм басом гуняве співання втомившихся дяків.

Чи витягнуть з води утопленника, дивисься й при цій okazji як *deus ex machina* з'явився вже Мазепа і, погукуючи на юрбу роззяв, відкачує на рядні необережного купальника.

Коротко кажучи, Микита Петрович був, як кажуть в жарт „іже везде сий“ і як що не „вся“, то занадто „ісполняй“! До цього слідує додати ще те, що Мазепа був аж надто оригінальна людина, що, як мені здається, і було найголовнішою причиною його широкої популярности.

Все, що він витворяв в звичайнім своїм житті, мало ознаку одному йому тільки властивій вдачі. Зроби другий що небудь подібне—і воно пройшло-б або зовсім непримітно, або й того ще гірш,—здалося-б всім смішним.

Йде, примірно, він купатися—його завжди супровожда до річки ціла ватага дівтори. Поводом до цього було те, що Мазепа ніколи не купався так, як це робили інші. Прийде, було, на річку і на самому глибокому місці її роздягнеться, злізе, або на міст, коли не на самісінькі його перила, абож ледве не на вершину сухої верби, що схилилась над самісінькою кручею,—перехреститься і промовивши: „Господи, благослови раба Микиту на нову волокиту!“ шубовстнеться з такої вишини, просто стовбула, у воду. Трохи згодом він виринає вже на другім боці річки, пропливши під водою всю її у ширь. В руці

у нього завжди був при цьому трофей на манір палки, скойки, а то і просто твані, як ознака того, що Микита Петрович на самому глибу пірнув до дна.

Инколи з'являлись і наслідники йому, як в цій, так і в інших подібних „штуках“, але всі ці насліді здебільш були даремні, а іноді мали за собою і серйозні послідки. Так одного разу його сябро, молодий парубок, у якесь то свято при великім зборищі на березі народу захотів похвалитись такою ж удалю, як і Мазепа. Злізши на перила і без того високого мосту, він, на манір дотепного на все кравця, кинувся з них у воду, але похопившись не оглядівсь, як слід і потрапив бідолага на підводню палу. Виратуваний з води непритомним, — він через тиждень віддав Богу душу. З тих пір ніхто вже більш не зважувавсь наслідувати, а найпаче одіймати у Мазепи, одному тільки йому властивої, удалі й юнацтва в таким роді.

Микита Петрович був, по реместву, кравець і духом ненавидів „мужичого“ діла“, цеб то хліборобства. Жилось же йому й без хліборобства добре; бо за ті часи на всю Борисівку було не більш п'яти-шести кравців. Одні з них числилися офіціальними, а другі—рядовими. Рядові кравці шили: свитки, кожухи, шушуні,—одним словом усє те, що з'являлося звичайною одежою селян; щож до кравців першої категорії, то для них не був тайною і панський крій, на манір визиток, „спинджаків“, брюк, пальто і т. и. Правда, що вийшовша з таких кравецьких рук визитка, у всякім разі, не дивлячись на пильну студію її покроя, не змоглаб установити за собою навіть далекого свояцтва ні з однією з Парижських мод. В ній еднались всі покрой: сюрдут-не сюрдут, „спинджак“ не „спинджак“, а скоріш усього те, що глузуючи селяне звали: „одежа-пусти-вирвусь!“ Що ж до брюк, то в них здебільш, дякуючи чудернацькому покрою, обтягувавшому ноги не там де слід,—не було ніякого способу не тільки йти вперед, але навіть здалеку плентатись „за духом моди“.

Як тімаха свого діла, Микита Петрович був вище цього підподілу й однаково чудово зодягав своїх клієнтів, як у кожухи і каптани, так рівно і в пальто, визитки, „спинджакі“—включно до уніформи місцевих поліціантів.

Почасти його слава, як дотепного кравця і з'язане з нею чимале число замови; а почасти й нехить до мужицького діла, не дозволяли йому своїми властними руками оброблять доставшийся йому наділ, але так як Микита Петрович бажав всеж таки, як поважний господарь, мати не купований, а свій власний хліб, то від цього і обробляв наділ свій наємними руками. Правда, що дякуючим наємним рукам, а більш усього оригінальному способу їх найма,—свій власний хліб обходився йому дорожче вдвоє покупного.

— Треба, примірно, Микиті Петровичу обмодотить кіп дві пшениці, іде він рано вранці у базарний день на торг, попереду загадавши жінці злагодити на цілу артіль сніданок,—і наймає не одного, не двох,—а не менш симвосьми молотників; приведе їх до дому і перш ніж дати їм роботу,—запрошує поснідати.

— А ну лиш хлопці сідайте зпершу та поснідайте, а потім вже й за роботу!

Ну, звісно, що ж? Хлопцям однаково—коли б не снідати, аби снідати! а від того, обсівши округ столу, вони перш ніж почать роботу ціпом,—починають її ложкою. Що ж до самого хазяїна, то він не брав участі в трапезі, а запаливши люльку, звичайно похожав по хаті, потішаючи своїх молотників цікавою балачкою і разом з тим, непримітно назираючи за ними. Кінчається сніданок. Микита Петрович вибирає зо всієї артілі двох, а до решти обертається з такою реччю.

— Ну, а ви, хлопці, наїлись, напились?

— Та спасибі, добродію; довольні,—одмовляють ті.

— Ну, а тепер прощайте!

— Як це так, добродію?

— А так, що мені таких робітників не треба.

— Так виж, хазяїн, нас договорили...

— Ну так що ж з того, що договориз? Адаже ж ви ще й не робили нічого, а я вас сніданком вже нагодував... Ну і йдіть же собі з Богом, та не гайтесь, базарь не розійшовся, може ще хто найме,—і Микита Петрович, без церемонії, брав кожного за плечі і злегенька випихав їх за ворота.

Як би там не було, а збиті з пантелику молотники, ні дідька лисого не тямлючи нічого, знов подавалися на торг, голосно бажаючи привередливому хазяїнові стонадцять кіп чортів!

А діло вияснялось дуже просто. У Микити Петровича був свій властний на деякі прикмети погляд. За сніданком він пильно придивлявся: хто й як їсть з закликаних молотників? Як хто їв не розмовляючи і скоро,—того він зоставляв; хто ж їв повагом, як наче нехотя, та ще гляди до того на гріх собі, заходив з ним в розмову,—того він конешне проганяв геть, мотивуючи свій вчинок тим, що „хто як їсть, той так і робе,“ це б то хто їсть скоро,—той і в роботі скорий, а хто їсть, як кажуть, „з прохвала“, тоб то повагом,—той і в роботі буде мнихою. Звичайне, що при такому наймі обмолот „своєї“ копи пшениці обходився дорожче вдвое, але за те обмолочена вона була уже як слід „без хвальші“.

Що було всього цікавішим в характері Мазепи, так це вперше антипатія його до москалів, або „кацапів“ як він взивав їх і до духовенства; а вдруге надмірний запал в гарячій розмові, за що не раз таки доставав він назвиська „брехла“.

Рідко-рідко, як що траплялася на те okazія, він вдержувався від спокуси „удрати“ над кацапом „штуку“. Часто такі „штуки“ кінчались колотнечею, а инколи й судом.

Вирядиться було Микита Петрович в свій новий козакин і піде зранку ще в базарний день на місто, пошвендяти проміж народом і побазікать де з ким з своєї братії кравців. Збереться така кумпанія, на чолі з Мазепою,

і з позаранку ще, зайшовши під гостинний захист „ресторації“ вилазе звідтіля, як кажуть шуткуючи, „на третім зводі“, це б то підпиті вже як слід. Микита Петрович, будучи на цьому зводі був уже надто вигадливий на „штуки“. Не промовивши нікому з своїх приятелів ні словечка, піде було скрізь по базарю і почина приторговувать не розбираючи всю привезену „кацапами“ на продаж солому. Приторгувавши возів з десять він указує їм яку небудь пустопорожню оселю і велить скидати там свою покупку в одну загальну купу, а сам піде, щоб розміняти для рахунка свою казну на дрібняки, наказавши москалікам почекать його хвилину. Позвальноють москаліки усю свою солому в одну купу і ждуть свого купця з рахунком. Мина одна година,—йде вже друга, деякі з нетерплячих ідуть розшукувать пропавшого купця. Відома річ, що все шукання їх даремне: купець, немов би, в воду канув! Проходе ще одна хвилинка,—діло близиться вже на обід,—москаліки починають бунтувать коло соломи, звертаючи на себе увагу базарян. Починаються розпити: як, що й відчого? на сам кінець догадуються, що весь цей покупи і сполучене з ним непорозуміння, не більш не менш як „штука“, котру „вдрав“ Мазена; декотрі з зібравшихся людей, шкодуючи москаліків, радять їм знов накладати на вози свою солому й рушати з нею по домах, запевнюючи їх у тім, що купця, приторгувавшего її у них, вони не дождуться ніколи. От тут то починається самий цікавий акт Мазепиної „штуки“. Кожен з продавців, бачучи себе ошуканим, старається на скільки мога надолужити себе за це і від того, накладаючи з загальної купи на свій віз солому, силкується захватить удвоє більш проти того, ніж було наложено на нього. З цього виникає суперечка, за нею незабаром лайка і на сам кінець проміж ошуканими москалями здійснюється колотнеча. Вчепившись один одному в волосся, довго тягаються вони, неначе ті гиндики, а ото-

чивша їх юрба—регоче на живіт, втішаючись несподіваним фіналом Мазепиної „штуки“.

По правді кажучи, вигадливість Мазепи по часті всяких „штук“ инколи доходила просто таки до виртурзности. Якось то раз іде він у неділю по майдану й баче, що проміж церквою і викопаним збоку неї озером розташувалась ціла валка навантажена обіддям. Мабуть що не до міста розташувавшася ця валка, загородивша двері церковної огради, на цей раз примусила Мазену „удрать“ над москалями вмент вигадану ним цікаву „штуку“. Прибравши на себе поважну постать підходе, він до, сидівших за обіддям, москалів і почина розмову.

— Здрастуйте, москалики! З неділею бувайте здоровенькі!

— Здрастуйте і вам!—одмовляють москалі.

— А звідкіля вас Бог несе?

— Да із за Рильска, мілий человек.

— Та-ак... А це у вас що, обіддя?

— Абод'ї...

— Що ж підрядились кому везти, чи може сами од себе продаєте?

— Нет... ето наші. Привезлі к вам на прадажу, да віш, мілий человек, полдня уж как стоім, а ещо ні однаво купца не заявлялось,—дає вже більш докладну відповідь старший в артілі.

Мазепа почина ходить проміж возами, пильно розглядаючи при цьому привезений товар.

— Ну щож дорого просите за стан?—скінчивши розгляд, знов запитує Мазепа.

— Да ми, паштенний, за дьошево б продалі, ліш би развязатца паскарей... Дело то не шутки, забілись чай верст за сто, колі не боле,—а прадажа віш какая?

— А скільки б ви, примірно, взяли за сотню?—запаливши свою люльку й мостячись до них, запитує Мазепа.

Старший в артілі каже свою ціну і проміж ним і Хрокалом починається формальний торг з найменшими властивими йому деталями, починаючи з шльопання одно'дного по ру-

ках і кінчаючи, як слід, хрестом на, збік стоящий, Божий храм. На сам кінець приходять до згоди і за Мазепою остаються чотирі вози купленного ним обіддя.

— Тепер знаєте що, хлопці?—обертається він вже до всієї артілі. Я вам прибавлю ще на могорич, а ви, будь ласка, скидайте у озеро обіддя з цих чотирьох возів, що я у вас приторгував, бо мені все одно прийдеться розмочувати їх.

— Да ето штож.... ето можно! Ліш би на водку било!—згоджується артіль.

— Та вжеж сказав що дам,—так дам! Тільки ви мерщій, будь ласка, а то мені не дуже є коли... А як скидаєте все обіддя, то приходьте за рахунком, он бачите той дом? так от туди!—при цьому Мазепа показує на близь стоящий дом, —квартиру станового пристава, і ще раз наказавши поспішити, —скоренько одходе. В слід за цим москалики починають дружню роботу: обіддя з приторгованих возів тільки мелькає в озеро.

Скінчивши роботу і смакуючи вже могорич, іде артіль за рахунком в показаний Мазепою будинок і питає там якогось невідомого купця. Ну тут звичайно, виникає найцікавіше по „суті діла“ qui proquo. На запитання вийшовшого до них пристава, як фамилія купця, пославшого їх за рахунком в канцелярію до нього, —вони називають фамилію станового; той завіря, що він їх вперше з роду баче і просе розказати зрозуміліш всю „суть діла“,—але збентежені москалики „галдять“, як гуси на зорі. Кінчиться все, звичайне тим, що непроханих гостей ледве не в потилицю випроважають з двору.

І йде ошукана артіль знов до озера виволікати назад з нього свій товар, поминаючи при цьому трьох'осадними словцями, як купця, так рівно й всю його рідню аж до самисінького третього коліна.... А прохожий люд регоче, признавши в цьому нову „штуку“ чудака Мазепи.

Антипатія Микити Петровича до парсон духовних мала підставою своєю досить важну причину. Річ у тім, що Хро-

кало уважав себе за доку в богословії і навіть не припускав тієї думки, щоб хто небудь, не тільки що з псаломщиків, але й з попів зміг би змагатись з ним у цьому; а вони, як на гріх, завжди старались перевірить його з цього погляду. Не в похвалу Микиті Петровичу треба сказати, що він як що й не був теоретиком,—то за те практичеські мав за собою не малі пізнання з погляду богословія, догматики, церковного обряду й співу. Це пояснялось тим, що він з дитячих літ ще завжди був при церкві, зпершу як підручний, служившого при ній, сторожа Трохима, а потім як помішник на криласі дячку Макусі. Дякуючи цьому, на сам кінець дійшов він до такої досконалости з погляду порядку церковних служб, а найпаче співу, що всюди й завжди заміщав „в мінуті сладостія“ дячка Макуху. В самих найтрудніших гласових співах він не тільки сам розберавсь шуткуючи, а ще й повчав, при нагоді, неутвердившагося в них молодого псаломщика Орлова.

Що до цього, то у нього був теж оригінальний спосіб: для того щоб раз на завжди заучить трудний мотив, то для цього на кожний глас у нього був свій властний вірш, зовсім не духовного характера. Так, примірно, вірш „плаваючого по калюжі в новому білому кожусі“—він виводив на глас сьомий; „ішов чернець дорогою, найшов свиту з відлогою“,—на глас третій і т. д. Але в чім він був „артиста“, так це в читанні апостольських посланій, або по просту „апостола“, особливе як ще останній склад останнього, в нім слова кінчавсь на „а“ або на „о“. Такі „апостоли“ були аж надто люб'язні йому і ними він не поступавсь уже нікому.

Треба було бачити Хрокала тоді, коли він „виповняв“ одно з таких апостольських посланій! Можна сказати без помилки, що ні один гастроном не підходив до своєї улюбленої страви з таким жаданням, з яким Мазепа підбирався до останнього словечка в тому „апостоли“, котрий кінчавсь на люб'язний для нього „аз“.

Кожний „апостол“ він починав, звичайне, по всім правилам дотепного читця. Перше слово в ньому— „братіє“ не вимовлялось, а гуркотіло такою надзвичайно-страшною октавою, як наче хто розсипав на залізнім решеті горох. По мірі того, як посувалося читання, як голос, так і книга в руках Мазепи підіймались вгору. На останній фразі він потрясав вже нею ледве не над головою, а його голос в цю хвилину давав найкраще поняття о тій трубі котра, колись то гуками своїми розвалила мури Єрихона. Щож до вида його в цей мент, то... але про вид, то краще не казати! Досить буде одного того, що жінка станового пристава, зиркнувши в цю хвилину на Мазепу,—негайно вийшла з церкви. Сам отець Василій казав принаймні, що „лік“ Мазепи і його фігура „с воздетими горе“ руками, в той мент як він на пуп горлав останнє слово у „апостелі“, уявляли з себе образ апокаліпсічеського звіря в ярости своїй готового пожерти всю вселенну.

Не диво після цього, як що декотрі з парафіян не опускали ні однієї служби-Божої, із за того тільки, щоб лишній раз послухать як Мазепа „удере апостола“.

Разом з цим Микита Петрович був великий оборонець церковного благочинія; погляди його в цім разі доходили прямисінько таки до нетерпимісти. Так одного разу фершалка, говіючи, у капелюшку наблизилась до солі щоб приобщитись святих тайн. Мазепа, спостерігши це, зараз же подавсь у вітварь упредить отця Василя. На заяву батюшки, що це діло не його, Мазепи, Микита Петрович одмовив тим, що власноручно знявши з фершалки капелюшок, положив його на солію збок неї, додавши при цьому, що „церква—не кумедія“, щоб то не театр, „і бути в ній у шапці, хоч-би то й жінці, то не личить!“ Цей вчинок накликав йому велику догану з боку отця Василя. Вислухавши цю догану, Микита Петрович рішуче заявив, що значить сам батюшка нічогісінько не тямє в церковних обрядах. Ця незгода породила дебати проміж ними, що наруч було Мазепі, так як він ніде і ні при яких об-

стави́нах не ухилився від okazji подебатирувати по части богословія, а найпаче церковних обрядів, з духовенством. Инколи такі дебати кінчались спором, а инколи діло доходило й до бешкету. Одна така okazія довго була всій Борисівці у тямки. Виникла вона між ним і все тим же батюшкою отцем Васи́лієм Покровським. Історія цієї okazії така:

Якось то раз на хрестинах, де Хрокало був кумом, між ним і отцем Васи́лієм провадилась розмова, принявша, своїм звичаєм, характер чисто спеціальний по части богословія і з'язаних з ним церковних обрядів. Мазепа, проміж иншим виказав отцю Васи́лію свій погляд на те, що перезвон „по мертвому“ робиться в їх церкві не так, як слід. По декотрим, здебільш по багатим, дзвонять з „перебором“, це б то у всі дзвони, починаючи з найменшешеньких „скликальників“ і кінчаючи найбільшим, „посереднім“; а по бідноті, так так: продзенькають двічі в ті „скликальники“, та бовкнуть раз у „постовий“, *) та й годі!

На це отець Васи́лій одмовив, що, кажучи по правді, церковний похоронний перезвон помагається тільки по ієреях і по инших, духовного званія особах. Мазепа з цим не згодився і про між них вчинився спор.

— Даремне ти, добродію Микита, замітив отець Васи́лій,—починаєш спор по тим „вопросам“, в котрих сам не тямеш „ні бельмеса!“

— А ви, паноче, багато тямите у всіх таких „вопросах?“

— Та покладаю так, що у всякім разі більш ніж ти.

— Та-ак... А ну лиш, будь ласка, повчіть нас нетямущих,—роз'ясніть мені один „вопрос“: яким способом пробравсь нечистий дух у рай, щоб спокусити єву?—поставив панотцю найлукавіше питання Хрокало.

*) „Постовим“ зветься невеликий дзвін, у котрий дзвонять говільникам у великий піст.

— Ти иноді завдаєш такі безглузді „вопроси“, добродію Мазепа, на котрі при всім своїм бажанні не підбереш одмови.

— Ну, батюшка, умніші нас з тобою люде „жували“ ці „вопроси“, та не казали, що вони безглузді, а нам і подавно не годиться так казати,—відрізав Хрокало, визиваючи отця Василя на сварку. Зараз же після цього проміж ними знялась буча, котра скінчилась тим, що ображений панотець утік до дому.

Верх все таки зостався за Мазепою: він ясно доказав перед усим кумпанством, що нечистий дух пробрався в рай, дякуючи пшеничному зерну, забравшись в котре він безпешно проплив в ньому по єфрату в рай, через це саме відбігши пильного ока, пантрувавшого його предвір'я, грізного архистратига.

Цей спор, скінчившийся сваркою, привів до того, що в перший же воскресний день отець Василій не благословив Мазепі прочитати „апостола“, накликавши тим самим щось похоже на демонстрацію з боку його прихильників. З свого боку Хрокало, наважившись віддати віть за віть, допоміг своєму котові вчинити ревизію попівському голубнику. Дякуючи цій ревизії, більша половина чистокровних турманів,—ця гордість панотця на всю округу,—послужила в цьому разі, як збавительна жертва за нанесену образу. Для того ж, щоб отець Василій не приписав ції оказії звичайному случаю, Микита Петрович візьми та й похвались своїм сусідам яку він „штуку вдрав“ з попом... Знай, мов, наших і не застуй! Похвальба ця не пройшла йому так: отець Василій зараз же заніс на нього скаргу в суд, через що Мазепа опинився в невітідному стані. Популярність його, через це, похитнулась; а тут ще, незабаром, трапивсь з ним „скандал“, „скандал“ такий, якого він у жоднім разі не ждав на свою голову ніколи. Дякуючи йому, слава Мазеци, як дотепного церковного співаки—від разу пала, це вперше; а вдруге, що гірш

над все, він був привселюдно зневажений тим же самим отцем Васи́лієм Покровським.

Діло було так.

Небога Микити Петровича виходила заміж. Мазепа, звісно як родич, задумав обставити шлюбний обряд, як найкраще, виробивши ради цього навіть деяку програму. В цій програмі був між иншим, один номер, на котрий покладав він не малу надію, бо по своїй новизні він повинен був справити велике вражіння на всю Борисівку. Чудова ідея ця лежала в тім, що він наваживсь з своїм хором розучить торжественний концерт, котрий він чув, при вінчанні якось то купця, у городському соборі,—маючи на думці звеличати ним молодих і разом з тим доставить втіху всій публичності, котра буде на той час у церкві. Одібравши найкращих з усієї своєї капелі співак, підморгоричивши попереду як слід їх, тижнів за два ще до вінчання почав він розучувати з ними свій концерт. Дякуючи трохи не щоденним репетиціям і невтомности самого регента, співавшого, здається, зразу на всі голоси, діло потроху посувалося вперед і обіцяло добрий успіх, що ясно було видно на останній генеральній репетиції. Тітка Галка, мате молоді, з кумою Стехою навіть розплакались, слухаючи під вікном, як перший тенориста Данило Луб'яний не мов той соловей, виводив свою „солу“; а дяк Макуха,—компетенція котрого у всякім разі стояла вище якої б то не було підозри,—так той просто таки в голос заявив, що з таким „песнопенієм“ не страшно було виступити і при архирейській службі. Одним словом Мазепа налагодивсь уже пожати лаври, аж гульк... несподіваний, найвеличезний бешкет!

В час вінчання, з самого початку торжественного концерта Мазепі не пофортунило, як кажуть. Почать з того, що дякуючи нежданно опануванній ним ожитації, тон був завданий, з поспіху, не вірно, а від того і саме начало концерта було аж надто непевним. На цю біду,—так уже підеться, як кажуть там, на лихо,—Мазепин кум Данило,

найкращий тенориста, базис, опора і надія успішності концерта, „колупнув для куражу“ і був, як зразу запримітив це Микита Петрович, „на третім зводі“. Все це вселило боязність у співака. По мірі того, як концерт, чим далі, тим більш валився, хористів заповідала паніка і вони, один за другим, пригинаючись, тікали з криласа. Мазепа запримітив це і сподіваючись на далі ще більшого фіаско,—теж отетерів і нервово діржируючи, показував руками вступ для голосів уже не там деслід. Ця пригода ускорила той мент, котрий можна визначить словами: „рятуйся—хто як може!“ На криласі счинивсь гармидер, у слід за котрим всі вдарились на втіки. Глянув Хрокало на мизерну решту своєї славної капелі—їй вжахнувся! На криласі всього—на—всього зосталось троє: він, кум та, спішно шукавший свою шапку, бас Напльошка. Одначе кум Данило держався лінії своєї дуже твердо: піднявши вгору посоловівші очі, він самим сладостним фальцетом, заносячись, виводив соло: „аз взисках от ю-у-у-ности моея!..“ Скинувши на нього оком у голові Мазепа мов блискавка митнула думка: „або пан або ж пропав!“ „Мое-я, мо-е-я!!.“ рывкнув він, підхопивши соло, так, що у дячка Макухи, унило визиравшого з полуденних дверей, аж окуляри зірвались з носа, з переляку. Але ніщо вже не могло зрятувать концерта. Кум Данило, в своєму захваті, забув які слова йдуть далі і замість „суді звесті ю к сожитію“,—ще з більшим виразом знов почав, раз уже проспіване ним соло „аз взисках“. „Мо-е-я!.. мо-е-я!!.“ у щоб то не було, бажаючи посунуть далі зачепившийся концерт,—дико перебив його Мазепа, садонувши при цьому кума кулаком під бік. Кум аж квакнув од несподіванки такої сюрпризи, але прийняв її як заслужену кару за свою розсіяність, взявши собі те, що він в перший раз дуже рано почав „солу“,—а через те одкашлявся, зібрався з духом і цілим тоном уже вище, ще втретє, затагнув все теж злосчасне „аз взисках...“ „Мо-е-я... мо-е-я...“ не мов би то у сні вже, хитаючи з докором головою, промовляв за ним Мазепа. Його очі дуже ясно виз-

начали такий настрій, який можна визначить словами: чи варто, мовляв і жить на світі після всього того, що сталося? В докінчення всього збок криласа почувся регіт. Це був уже „соблазн“, викликавший збок отця Василя спосіб аж надто радикальний проти нього. Вийшовши на солею, він „громогласно“ прогнав з криласа отетерівшого регента з його солистом, наказавши продовжать обряд дячку Макусі.

Після цього страмовища Микита Петрович забрав собі в голову у щоб не стало, а віддячити як слід уже „триклятому попу“ за його образу! Добра оказія була не за горами і з'явилася не мов би звана, на поміч, жадавшому її Мазеші.

Через пів року після цього, на перший день Великодня по всіх Борисівських церквах весело гули дзвони, закликаючи хрещений мир на торжественну вечірню. Одна тільки Троїцька дзвіниця зоставалася, від чогось то, німою. Не дивлячись на те, що по других церквах давно вже протрєзвонили,—її дзвони все ж таки не сповіщали свою паракхівію про час торжественної служби. Зібравшись в огряді і на паперті, на дзвін других церков, народ, не добирав рахуби: що воно за знак? В цей мент з'явивсь в огряді Хрокало. Довідавшись в чім річ, він вмент рішив все це непорозуміння.

— А ну, лиш, куме, полізьмо, голубе мій, та продзвоним!—обернувся він до сидівшого на східцях кума. Вже ж з двох попів, хоч одного—а все таки додзвонимось у церкву!—і вслід за цим Хрокало і кум його Данило подрались на дзвіницю. І заревли і застогнали дзвони під одностайнім нападом празнично налаженних кумів! Більш години, не покладаючи і на хвилину рук, старалися два куми на дзвіниці,—але з двох попів Троїцької парафії не з'явився ні один. Бачучи нерадикальність цієї міри, Хрокало зійшов з дзвіниці і зібравши круг себе деяких паракхівіян,—вчинив раду, на котрій було постановлено: йти цілою громадою до панотців духовних і довідатись, що за причина їх неяви в Божий храм?

Вияснилось, що отець Андрій поїхав з требами на хутори; що ж до отця Василя, то він після святкової візитації на стільки „ослабів“, що ні до чого вже не був годен і зарившись в подунки на всі лади, як кажуть, шкварив хропака! Як не старалась матушка розбудить його й поставити на ноги,—але нічого з того не вийшло і вся Троїцька парахвія зосталась на Великдень без вечерні.

За те на сердцеві Мазепи двоїстий був Великдень.

— Ну, паночко,—міркував він йдучи до дому сам до себе,—ти вигнав мене з криласа, а я тепер попру тебе вже зовсім з церкви!

Зараз після цього полетіла до преосвященного владики скарга на ієрея, ніби від парахвіян, підписана Мазепою і кумом його Луб'яним. З тих пір проміж Микитою Петровичем і панотцем Васиєм почалась уже правдива волокита, котра тягнулася, як що не помиляюсь, більш десятка років. Не маючи спроможності перелічити всі перепитії, котрі її супроводжали, можна сказати тільки одно, що в протязі її, то Мазепа припірав отця Василя в тісний кут, то отець Василій цупив Мазепу „на цугундер“. Скінчилась вся ця волокита дякуючи лиш тому, що отець Василій перейшов у другу парахвію.

Боже мій!.. Треба було послухати Микиту Петровича, як він було забалака про свою справу з панотцем! Слухаючи його і повіривши хоч на половину, можна було тільки дивуватись, як це бідолашний отець Василій ще й досі жив на волі, в слободі, а не опинивсь де на Сибірі?—до того він прибріхував, заносячись в розмові. Хоч слід сказати й те, що не тільки в цім случаї, а взагалі скрізь, заносячись, Микита Петрович, не тим спом'янут будь покійник, як кажуть „на всі заставки брехав!“

Бажаючи підкреслити свою заможність, він завжди, коли заходила про це розмова, казав що сахарь купував він не на хунт, а „головою“, коли не цілим пудом; гірчиця в нього затиралась не в тарільці,—а в макітрі; борошно стояло не в мішках, або там в кадубах,—а про-

сто таки насипалося у заски і т. и. Заносячись в розмові, він не признавав уже логичної наступності у ній і, збиваючись у часі й місці, на сам кінець добалакувавсь до самісінького „нікуди“, як кажуть. Так, при-мірно, одного разу, почавши своє оповідання тим, як його водила колись у спасівку мара в стані дикої утки-крижняка, по котрій він вистрилив неменьш, як разів з двадцять, — він несподівано скінчив своє оповідання тим, що цейже таки крижняк завів його на сам кінець в ополонку, з котрої він вирятувавсь дякуючи лиць тому, що вчасно осінив себе хрестом, після чого ледве-ледве видрався на цільний лід.

— Ну й брешеш ти, добродію Микита, немов би пес той ланцюговий! — не стерпів таки щоб не сказать. мовчки прослухавший все оповідання, дяк Макуха.

— Як це так?

— А так, що почавши стрілять крижняка у спасівку, ти без оддиху дострілявсь по ньому до самої зіми... от що!

— А ти знаєш, дяче, приказку: не любо — не слухай! — байдужісінько одмовив Хрокало, зараз же змінивши тему у своїй розмові.

Останній раз бачив я Микиту Петровича років два тому назад. Високий стан його не те щоб там зігнувся, а якось то осів з літами. Од темнорусих кучерів zostалися, як споминка про них, ріденькі, зовсім сиві невеличкі пасма. Пів'аршинні вуси, немов би ті дві жмені льону, лежали на його грудях. Одні тільки очі нагадували колишнього Мазепу. В них тепер хоч зрідка, а гляди порою й блисне вогняк свідчивший про те, що десь то глибоко-глибоко в середині Мазепи хорониться ще невеличка здатність на те, щоб удрати яку небудь „штуку“. Загально він пригадував собою могутній старий дуб, гожий тільки що як декорація, але цілком уже негідний ні на який знадіб.

Незабаром я довідався, що Мазепа вмер і вмер якось чудно.

Сидів він якось вечером улітку під повіткою в себе, звичайно з люлькою в зубах і чекаючи вечері дражнив своїх унучат. — Дідусю, розкажіть нам казочку!—приставав до нього самий менший, мазунчик його, Свиридон.

— Нехай після вечері... Підемо у клуню спати, тоді й розкажу,—одмовив дід.

— О!.. це вже ви не хочете казати...

— Чого ж це так?

— А так; після вечері зараз спати... Розкажіть тепер!

— А от, як будеш прилипати, то й зовсім не скажу! Підійть лиш, та скажіть там матері нехай лагодить мерщій вечерю. Тоді й мене покличете.

Трохи згодом вернувся Свиридон звать вечерять діда.

— Дідусю, йдіть! Вечеря вже готова.

Але дід, схиливши голову собі на груди, мовчав, немов би в рот води набравши. Одна рука його лежала на перилах воза, а в другій лежавшій на колінах, держав він свою люльку.

— Та йдіть бо, дідусю, а то й казку ніколи буде казати!—і Свирид схопивши діда за руку,—потяг її до себе. Рука безсило опустилась випустивши люльку. Покладаючи, що дід шуткує, Свирид почав торсати його, але все було даремно: очевидно дід заснув.

— Тату, тату!—крикнув Свиридон вийшовшому з хати батькові. Дивіться лиш; дідусь заснув!

— Так буди його, та йдіть мерщій вечерять!

— Та я будив уже, так не встає.

— А ну, лиш, тату, йдіть вечерять!— підійшов до Микити Петровича старший син його Іван і взявши батька за плече, стряснув його злегенька. Рука, лежавша на перилах воза, сприснула і Микита Петрович повалився на руки, ледве підхопившого його, Івана.

Все стало ясным: в руках сина був уже бездушний батьків труп.

Це була остання „штука“, котру „вдрав“ Мазепа.

„Аблакат“ Маренич.

Кріпацтво пало і разом з ним,—по виразу покійника, нехай царствує, дідуся,—все шкереберть пішло: перевернулось до гори ногами! Взять, наприклад, хоч тих же самих кріпаків. Далеко більша часть з них, разом з волею, дістала за все своє терпіння нагороду: десятину з лишнім, а инде й без чогось,—(з дорогами, усадьбою й вигоном),—земельки на ревизьку душу. Хоч, кажучи по правді, на такому власному своєму ґрунті не тільки розігнатись, а навіть і кістки розправити, як слід, було не можна,—ну та все таки, як кажуть, після хрїну—редьку їсти можна! А от кому прийшовся після редьки хрїн, то тим було вже зовсім те до чмиги! А було й таких чи мало. До порядку їх належала вся та надвірня челядь, котра за часів кріпацтва жила й харчилася на панський кошт і за все це несла ті обов'язки, які їй призначала панська воля. А панська воля в ті часи, як кожному з нас відомо, була на диво різномайтна в призначінні своїм надвірнім-кріпакам вселяких обов'язків, починаючи з льокаїв, покойовок, поварів і кінчаючи—музиками, балетницями і співаками. Були навіть і такі, весь обов'язок котрих складався в лоскопанні п'яток і в говорінні „на сон грядущий“, казок своїм збавланим панам і паннам. От цим то вже, після кріпацтва, прийшлося дуже кепсько! Охотників кормить, поїть і одягати всіх цих казкарів, балетниць, „п'яткочухальщиків“ і ї. п. після крєпатцва було мало, так як колишнім їх панам не спалось вже й під казку, а той що складав закон, признав, по правді, що ні вони наділу, ні наділ їм—одно другому непотрібні, а від того, при знесенні кріпацтва, пожадавши їм всього найкращого в житті, пустив всю цю ораву на

всі чотирі, не давши їм ні п'яді в власність матінки-землі. І порозлазилась уся ця челядь, як руді миші, по всіх усядах великої російської землі, промишляючи де, як і чим попало шматок того „насуцного“ „на днесь“.

Ціла хура такої челяді, як ні до чого вже непридатної, була прислана, багатим паном з столиці в одну з своїх маєтностей, слободу Борисівку, і розміщена в нарочито для них вистроєнному домі, носившому назву „фидлі“,—вся поголовно дістала від Борисівців прозвище „фидлян“.

В числі цих самих „фидлян“ і з'явивсь у слободу Борисівку Трохим Степанович Маренич, вкупі з жінкою своєю Серафимюю, або „Сірашею“, як звав її, ласкаючи, супруг.

Чим була і які обов'язки несла в свого пана ця пара, об цьому достойтно ніхто не знав. Звісно було тільки те, що в Борисівку з'явивсь Маренич, як кажуть, „яко благ, тако й наг“; помімо цілої орави дівтори—других нажитків не було в нього нічого. Зате, взаміну їх, він привіз з собою деякі з столичних звичок, між котрими особе виділялась звичка до чаю, кофію, хорошої їди, а також і до байдикуння.

Навіть вся стать Маренича сама собою визначала те, що ні до якісенської праці він зовсім не годився. Щупленьке, завжди брите, обличчя, з невгамовними маленькими очицями, якогось помутного цвіту, навдивовижу довгий, чим далі до кінця—товстіший ніс, мов велика, готова упасти капля, звисший над тоненькими губами маленького риб'ячого рота,—показувало в ньому актьора-комика середньої руки; а вся мизерна фігура, з коротким тулубом на тонких, вигнутих ногах, здавалось так і призначалась природою в жокеї.

Приїхавши в Борисівку, Маренич довго бідував, аж поки доля не звела його з мійським адвокатом Петром Івановичем Тиблом. Запримітивши хороший почерк, котрим, на своє щастя, владав Маренич, добродій Тибло став инколи давати йому для переписування начисто свої бумаги, в силу неминучости посвячуючи його, при цьому в деякі із

юридичних тайн. От ця то перепісь і навела Маренича на ту дорогу, по котрій, не звертаючи вже йшов він цілий вік. Бачучи, як легко доставались гроші його принципалу він задумав сам, потроху пробувати свої сили на заводі адвокатури. Перша проба—вийшла вдатна. Щож до потомних,—то зовсім несподівано для себе Маренич знайшов в собі навіть деякий талач до цього фаху, а від того рішив не быть подібним тому лінивому й лукавому рабу із притчі і як найскоріш пустив талан свій в ріст.

Перш усього він взяв собі за ціль на підставі конкуренції у щоб не стало придбать собі клієнтів, а разом з ними: популярність, славу, а найпаче гроші! Запопавши десь два розрізненних томи якихсь законів, він, на підставі тих статей, які знаходилися в них,—направо і наліво, у всі судові місця почав строчить охочим: скарги, прошення, апеляції й касації... одним словом: все, кому що треба! Чим щедріший був клієнт, тим більш Маренич, пхав, —не розбираючи того—у діло чи не в діло,—в його прошення тих статей, які знаходив в своїх томах.

Дуже часто ці статті служили темами до анекдотів. Просе його примірно який небудь Петренко написать йому апеляціонну жалобу у вищий суд на хибну постанову,—котра примушувала його віддать сусіду часть своєї усадьби,—і цобіцяється, на гріх собі, привезти йому в дарунок гусака, або мішок картоплі,—Маренич, з свого боку не останеться в довгу і в туж мить упрє в його прошення ще яку небудь статтю, на пам'яток, з своїх „законних томів“: „а по сему покорнійше, мов, прошу, по мимо таких то, ще й такої, примірно 145 стат. свод. закон. одмінить рішіння волосного суда і постановить діло в мою, Петренка, пользу.“

Стануть розбірать таке прошення грізні судді і помимоволі засміються зупинившись на вписаній Мареничем статті: в прошенні говориться про усадьбу, а проставлена в ньому стаття 145, що карає за прелюбодійство.

Треба сказать, що Маренич, з деякого погляду, був,

навіть новатором в адвокатурі: він не ждав поки клієнт обернеться до нього за допомогою й порадою, а здебільш сам ішов на зустріч їм.

Іде, примірно, він по над річкою, озброєний снастями, (Маренич був спортсмен-рибалка), і зненацька, зовсім ненароком, зверне свою увагу на те, що тин, котрий розділяє городи яких небудь Метигуза й Недолі,—ніби то не прямо упирається у річку, а трохи збирає навкося в володіння того, або другого з них. Така незначна, як здається, окolicність примушує його негайно, занедбавши на цей раз спортом, повернутися до дому.

— Чого так скоро повернувся?—запитує його жінка.

— Мовчи, Сіраша... Мисль!—при цьому Трохим Степанович лясне себе долонею по лобі і Сіраша не розпитує вже більш, бо добре знає, що в такім випадці ні в яким разі не можна було чим небудь, а найпаче недогочним питанням, нарушати регулярну течію мислі в голові супруга. А Трохим Степанович тим часом, заклавши руки у кишеню, маршував по хаті під такту зтиха приспівуємої пісні: „а я в трі коси косила, по самую речку“, детально розробляв блискучу ідею, котра так несподіванно забралася до нього в голову.

— Єсть!..—зненацька крикнувши і повертаючись на за-каблукахъ, кінчав він маршування.—Сіраша!.. бриль, сертук, зонтик і все що слід!

Бриль, сертук, а також і парусинний зонтик,—без котрого Маренич, йдучи по офіціальній справі, ніколи не виходив з дому,—вмент з'являлись на столі.

Трохи згодом Трохим Степанович, убраний у парадну одіж, входив уже в двір Метигуза, або Недолі і як що заставав хазяїна в подвір'ї,—то зараз же й приступав до діла.

— Здоров був Свириде!

— Здрастуйте Трохим Степанович!

— Ну кажи мені зразу—мзгорич буде?

— Та було-б за що, Трохим Степанович...

— Діло, брат, таке, що-о... вік будеш дякувать!

— Та ну?

— От тобі й ну!

— Так милости просимо у хату.

— Та то нехай після... Діло, брат, твоє не хатне, а надвірне...

— Як це так?—не догадується хазяїн.

— А так... Ходім лиш на город, я тобі щось покажу.

Гість і хазяїн чимчикують на город.

— Бачиш?—питає хазяїна Маренич, указуючи на сусідський тин.

— Бачу.

— Що ти бачиш?

— Та тин і бачу.

— Це я й без тебе бачу, що тин. А ти мені скажи куди той тин пішов?

— Та кудиж там? Вниз до річки.

— Та до річки ж, до річки, а не на небо... А річ у тім: як він пішов?

— Та Бог же його знає... Здається так таки й пішов, як слід.

— Як слід, ти кажеш?—і Маренич многозначно дивиться на Свирида. —От в тім то й річ, що пішов він не так, „як слід!“

Свирид ще раз скине оком тина, подума, навіть потилицю почуха,—а все таки не добре рахуби: до чого Маренич веде свою річ?

— Еге-ге... Який же ти тютхтій, мій голубе?—злегенька поляпуючи його по плечу, з усмішкою промове, немов би то жалючи Свирида, Трохим Степанович. —Тебе, голубчика, грабують серед білого дня, а ти й не бачиш?

— Як це так?—насторожившись запитує уже Метигуз.

— А так! Ти споглянь лиш, куди до тебе вгородився своїм тином сусіда твій Недоля? Тут і простим оком вид-

но, що він, мабуть, більш двох сажень землі твоєї прихвativ!

І вслід за цим Маренич почена вертить Свиридом на всі боки. То заведе його із низу і, одійшовши трохи, устроєме свій зонтик в землю й крикне:

— А дивись на зонтик, куди він показує?

— Як то показує?

— А так: що проти нього стоїть?

— Не долинь хлів?.. А ну тепер дивись!—і Трохим Степанович, зайшовши ззаду і вхопивши за голову Свирида, повертає його в'язи трохи вправо.

А тепер куди він значить?

— Тепер як раз стоїть на мій димар.

— А-а-а... Тепер сам бачиш, що на димар! А ну лиш іди тепер сюди, голубе мій сивий!—і Маренич веде його уверх до хати.

— А дивись лиш тепер на отой сояшник...

— Бачу,—і Митигуз витріщається на сояшник.

— Направляй тепер з нього свої очі прямисінько на горизонт, на ту вербу!—командує Маренич. Ну?.. Куда він показує

— Та на вербу ж.

— Ну, а як би не було верби?

— Так тоді б видно було Троїцьку дзвіницю,—резонно одмовля Митигуз.

— Ото-то й ба, що у тебе отут дзвіниця!—і Трохим Степанович торка злегенька пальцем в лоб Свирида.—Ти голубе не сердься, я тобі все це по щирости кажу... Ти знаєш що воно все оце означає?

— А що таке?

— „Самовольний захват чужої нерухомості, совокупно з посягательством на соціальний стрій російського громадянства, зиждущийся на урочнім положенні добровольного розмежування наділов, по указу Його Імператорського Величества і передумотренний в законі уголовних дел, в параграфі... в параграфі... здається 45“. А по сему ти мо-

жеш не тільки що одгородить собі з імушества Недолі два сажні землі, але навіть і в „тюрягу“, як що дітей не пожалієш, то можеш засадить його! От, що!

— Та в тюрьму не треба вже... Бог з ним! Звісно, й дітей жаль... А от що сажнів два города від нього одібрать, то я без того не согласен!—рішуче вже заявля Свирид. Певність Трохима Степановича, справля на нього такий вплив, що він і справді спочува вже себе в праві карать, чи милувать Недолю.

— А скільки років, як цей тин стоїть?—знов запитує його Маренич.

— Та років більш десятка.

— О?.. Возника нове діло, по лінії гражданського вже судопроизводства. Скільки років стоїть тин, за стілько років ти маєш право „зискать“ з нього за право пользования чужою власністю. А це, мій голубе, теж чого небудь варт!

— Так як би ж його оборудувати це діло Трохим Степанович?—запитує, вже заохочений, Свирид.

— А от приходь сьогодні вечером до мене, там ми й розміркуем вже як слід. А тепер поки прощай. Бач забалакався з тобою, а тут діла повна голова. Жінка наказала, щоб купить мішок пшениці на борошно, так я оце думаю забігти до Недолі на вітряк, купить у нього, та там же разом і змолоть. Зоставайся здоров!

— Та-а... слухайти сюди, Трохим Степанович. Ви за цим не турбуйтеся; у мене есть там клунок борошна з доброї пшениці, —то я вам сьогодні, як що тее, то „предоставлю“.

— Ну то й добре... а там, потім, порухуємось. Прощай!

— Ходить здорові!

Через тиждень після цього у волостному суді заходе діло об одібранні захваченного Недолею у свого сусіда Метигуза усадебного місця; а ще через тиждень Нечипор Недоля приходе за порадою до тогож Маренича: як йому

буть в такім випадці? Часто таке діло 'тягнеться з пів року, а іноді то й цілий рік і за весь цей довгий час Недоля і Метигуз були найсправіливішими поставщиками для Маренича: пшона, картоплі, борошна, цибулі, а так же й живності потрібної на їжу. Але що було дивним, так це те, що як Метигузу й Недолі ставала вже обридною вся ця волокита, то вони по взаємній згоді, обертались знов до тогож таки Маренича, щоб він їх помирих. Трохим Степанович, взявши при цій оказії з того й другого чималий куш натурою, — кінчав між ними діло миром.

Щож до більш звичайних случаїв в його адвокатських справах, то у Маренича, з погляду цього, був надзвичайний по оригінальності, свій властний спосіб. Трапиться було йому, як кажуть, зайвий час, піде він у крамницю, купе десь бумага і напише по одному шаблїону штук з двадцять прошеній в суд, zostавивши, де слід, на них пробіли, для того щоб вписати потім мення й прозвище позваного й позивача, а також назвисько того суда, куди повинна йти бумага. Приходе понеділок, або П'ятниця, (базарні дні в Борисівці) і Трохим Степанович ще зранку сидить було на рундуці збок церкви визираючи своїх клієнтів.

Клієнтів на такі прошення постачала для Маренича не так Борисівка, як розкидані навколо неї хутори. Полається було яка небудь уїдливая Лепестина з своїм сябром Яценком за порося, що перевернуло в неї діжку, або за курку, що зайшла на чужий город, виштапує його, як кажуть, на всі боки, та ще самаж і в суд на нього забажає скаржитись. Дїждавши понеділка, або п'ятниці іде вона під церкву, де вже сидить на рундуці Маренич, немов би сич той, визираючи своїх клієнтів.

Підійде до нього Лепестина і проміж них починається такий, примірно, діалог:

— Здрастуйте Трохим Степанович!

— Здрастуй.

— З понеділком бувайте здоровенькі!

— Спасибі.

— А я оце до вас Трохим Степанович.

— В чім діло, говори?

— Та хочу прохати вашу милость, щоб написали ви мені у суд прошення, на отого вирлоокого мого сябра.

— Якого?

— Та на Яценка ж!

— За віщо?... за образу, чи як?

— А звісно за образу.

— Як, чинно, чи словом?

— Та й чинно й словом... усячеські!

— Та-а-ак...—протягне Трохим Степанович. — Виходить двойна, так сказати, взаємна образа... Гм!—Таке прошення тоді не дешево буде коштувати.

— Чого ж це так?

— А то що так „по таксі“ виходить! За прошення об образі словом—одна ціна; за прошення об образі чинно—ціна вже друга, по таксі возвишеной“. А тут уже тройна повинна бути плата: за перше, друге і обоє вкупі! Зрозуміла?

— Та звісно зрозуміла...—промове Лепестина, ні дідька лисого не розібравшись в тім, про що казав Маренич.

— Ну так як же?—запитує Трохим Степанович.

— Та яж не знаю... Кажіть, скільки ви візьмете за написання?

— Ну добре, я тобі без торгу ціну об'явлю: один карбованець і шкалик могогорича.

— За віщо??—дивуючись питає Лепестина.—За отого вирлоокого Яценка, та я маю давати вам карбованця?... Та й рід його не діжде! Коли давать карбованця, так я краще зараз піду, викличу його з хати, та прямисінько отак: тьфу!.. йому межиочі;—при цьому Лепестина, заноссячись в розмові, ненароком бризка слиною на самого Маренича.

— Ну ну... ти! Утри лиш, краще рота! Так і приска сли-

ною на чоловіка... свинота бісова! — бурчить, витираючись хусткою, Маренич.

— А тільки що... Нехай уже краще він на мене жалобу занесе і дає вам карбованця за це! — не звертаючи уваги, про своє торочє Лепестина. — Прощайте!

— Та підожди ж! — завертає її Маренич. — Ну ти свою оказуй ціну.

— Та проти вашої ціни, — я вже своєї й не складу.

— Ну одначе?

— Семигривеника, коли хочете, візьміть, — та щоб було написано як слід, по хвормі... щоб прямо його у холодну засадили!

— Ну-у... Тиб уже рада була за свого семигривеника у Сібіряку чоловіка запроторить! От тобі, коли хочеш, для тебе тільки, бо я знаю що ти людина небагата: коповик і без усяких там твоїх витребеньків!

— Не дам... Ій-Богу не дам! — рішучо промовляє Лепестина.

— Та що ти, дияволова бабо, торгуєшся неначе за вола?!.. от це!

— Та куди-ж таки — коповик!.. Господь з вами!

— Ну давай уже два злоти, та й чорт з тобою! Якого ти греця царимонишся, — ніяк у толк я не візьму! Це ж просто таки на збиток комерції виходе!

Але не дивлячись на таке ласкаве повождення, Лепестина все ж таки царимониться.

— Ну от дивіться, як перед Богом, — хреститься вона на церкву, — четвертака віддам, а більш — ні шеляга!.. хоч знов прощайте! — і Лепестина знов повертається, щоб йти.

— Та пострівай!.. Ну та й прудка ж з біса баба! Просто так тобі й вертиться, як та дзига, немов би чорт лєскаче їй підшви!.. Щастя твое, що у мене готове прощення єсть, — і Маренич достає з кешені одно з заранш злаштованих прошеній!

— Так ви ж сперш прочитайте, — не довіряє Лепестина.

— Ну це до тебе не касається... Прочитаєм у свій

час, а тепер треба ще повписувати де-що. При цьому і тут же на рундуці почина заміщати, де слід в прошенні, пробіли.

— Як твоє мення, отчество й фамилія?—пита він Лепестину.

— Мое?

— Ну звісно не мое ж!

— Мене зовуть Лепестиною.

— Так і запишем—Ле-пес-ти-ни... А по батьку?

— Прокоповна.

— Про-ко-пов-ни...—промовляє, в слід за нею запи-суючи, Трохим Степанович.—Фамилія?

— Яка фамилія?

— Ну, прозвище!

— А-а... прозвище?—Прозвище—Куделиха. Так просто собі й пишеть—Куделиха!

— А того, хто тебе образив як звать?

— Харько.

— А по батьку?

— Та ще й по батьку писать того харциза?!—збун-тується Куделиха.—Не треба!—Не пишеть!

— Не можна не писать, так полагається.

— Не пишеть, кажу вам!.. Я вам краще п'ятака при-бавлю, тільки не пишеть!

— Ну ввиду цього можна й од форми одступить,—згоджується Маренич.—А як його прозвище?

— Яценко, паскуда, вирлоокій!—аж верещить уже Ку-делиха згадавши про образу.

— Фу-у-ва!.. Аж три прозвища для одного? Багато!.. Ну запишем перше, та й уже!—кінча Маренич, ховаючи перо і каламарь.

— А нуж прочитайте!— знов не довіряє Лепестина.

— Ну слухай, коли хочеш!— і Трохим Степанович ви-разно почина читать прошення: „в Білянський волостний суд, крестьянки Лепестини Прокоповни Куделихи слезное прошення. Покорнейше прошу Білянський волостний суд

приговорить крестьянина Харька Яценка, за п'янство, бунство і розбитіє вікон, — о чем покажуть своєчасно свідетелі,—на трое суток у холодну... „Досить буде на трое суток?—Зупиняючись запитує він Лепестину.

— Та досить... Тільки...

— Стривай лиш, не перебивай!.. „на трое суток у холодну;—чита він далі,—чим мене, просительницю і удовлетворить. К сему прошенію... і по безграмотству“... Ну, тут уже діло касається суда. От тобі і все!

— Стривайте лиш, Трохим Степанович!... Навіщо ви там написали ще про вікна? Вікон він не бив!

— Ну-у... ти ще почнеш там, бісова баба, усячину вигадувать, свої закони уставлять?.. Стану я із за твого „плевого“ діла, та форму прошенія теряють!.. Ну що з того, що вікна твої поки цілі? Не бив, кажеш, так може поб'є, як довідається, що ти подала на нього в суд! Краще більш написать, ніж не дописать.

— Ну хіба що так, —згоджується заспокоєна такими довідами Лепестина.—Нате ж вам четвертачка, спасібі вам.

— Стій, стій!.. цього мало. А за те, що не звеличав його в прошенні по батьку,—ще п'ятака?

— А бодай він був безбаченком вродився, як за його ирода та лишнього платити п'ятака!

— Ну я в тім не винен. Давай!

— Та звісно ви що ж?.. Ви в цьому ділі сторона. Нате вже,—в минорнім тоні згоджується Лепестина, даваючи п'ятака.—Хоч, по правді, воно б і не слід... Вам і так, хвалити Бога, заробіток легко достається.

— Як це так?

— А так... Черкнули там разів із три пером,—а три гривеники уже й в кешені.

— Ну на це я тобі скажу старушка-бабушка із причти: „овому талан, овому два, а овому“ оцей почесний знак!—при цьому Маренич підносе під самий ніс Лепестини дулю.—Зрозуміла?

— Та звісно що ж... ми народ, як кажуть, темний. Ну

спасибі ж вам. Прощайте!— і Куделиха, вклонившись, з прошенням за пазухою йде до волости сажати вирлоокого сябра Яценка на три дні у холодну; а Трохим Степанович, знов примостившись на рундук, визира вже нового клієнта.

Таким то побутом, на сам кінець, Маренич убив всяку конкуренцію і петроху придбав собі таке число клієнтів, що діла в нього було повні руки. Разом з цим ріс і його добробут. Під кінець свого життя Маренич перейшов з „фидлів“ у свій властний домок і не ходив вже по своїх ділах пішком, а їздив на своїй конячці в дрожках, куплених з okazji у свого бувшого, упавшого в злидні, принципала Тибла. Ще раньш цього в „Сіраші“ з'явилась наймичка, котра величала її не як небудь, а „бариня“.

Сам Маренич, поgrimуючи инколи на своїх синів, дорікав їх тим, що він в Борисівку з'явивсь без шеляга в кешені,—а от, хвалити Бога, й сам прожив, та ще й для них придбав копійку!

— А от спробуйте лиш ви придбать стільки, скільки я придбав,— для цього у вас дуже „вузько в лобі!“—звичайно завжди кінчав він свою річ.

— То колись було, що нажили!—промове було старший син Петро.—Тепер би спробували—то не далеко,—розігнались... бо дурні вже тепер перевелись!

— Ні, мій голубе, вони ще не перевелись; вони тільки поховалися по інших закутках! А от ви розумні дуже—знайдіть лиш ті кутки!



Співачка Варка.

Присвячую

артистці А. В. М. Гойдарівні.

Далі вже не під силу було продиратись кріз комиш! Стоячи по пояс у воді, я безпомічно озирався в надії знайти яку небудь болотяну грудку, щоб, присівши на ній, дати хоч невеличкий спочинок своїм аж надто стомленим ногам. І занесла ж чортяка у такії нетри! Вже більш години вчиняв я свій анабазіс в південну спеку липневого дня через ці трекляті комиші, а їм і кінця не завбачалось! Навіть собака моя Льора за неможливістю продратись по моїх слідах, покинула мене і мабуть що ув'язалася за Хведором. Забачивши недалеко від себе велику купину, я, зібравши останні сили, оступаючись і падаючи на коліна, а то так і на „всі чотири“, грібся в напрямі до неї в надії, вибравшись на суше, навперше покурить і відпочити, а потім роздивитися: куди мені найкраще направити „стопи своя“, щоб вийти з цього триклятого болота. Під кінець я стеряв всякий спосіб орієнтуватись і прийшов до тієї думки, що мені самому, без Хведора, чортяка розчесавби його куштру, не вибраться з цього багна, в яке він направив мене пошукать в прогалинах лисок.

Зібравшись на купину і розоблачившись від своїх ловецьких причандалів, першим ділом поліз я у кешеню за цигарками. Нове розчарування! Всі до одної цигарки були мокрісінькі, як хлюща! Поклавши їх на просушку проти сонця, а в голови собі стрілецьку торбу я, лігши на спину, почав споглядати на небесну висоту. Ноги й руки у

мене були немов би не свої і ледве нагадували про себе приємною млістю, що розливалась по їх жилах. Сонце припікало так, як наче бажало з підстрелених мною двох чирят приготувати мені печене на обід. А ні жадної хмарки на небі! Я вже, забувши про цигарки, почав було дрімать під гармонічний спів літаючих в тіні над самісінькою водою деяких неспомотних комарів, коли в праворуч від мене почулось плескання по воді і шелест очерета. Зпершу я подумав про собаку, що, натрапивши на мій слід шука мене і хотів був уже свиснути, коли нежданно за для мене почувся звідти жіночий голос:

— Дарино! Дарино-о!..

— Гов-го-ов!—відкликнувся на нього трохи далі другий голос.

— Куди тебе нечиста занесла?! Іди сюди до мене! Від-ціль уже не далеко до Кривого Пlesa!

— Що-о-о?!

— До Кривого Пле-еса!!.. Щоб тобі позакладало!

— Іду-у!!..

„Ой росло-росло клен-дерево різво;

Ходив козак до дівчини пізно“...

Широкою хвилею розлігся по очерету могучий контраль-то товаришки, що дожидала Дарини. Я підвівся з місця. Мені здалось, що я навперше чую ще такий чудовий го-лос. У верхньому своєму регістрі він прямо таки перехо-див в теноровий тембр, а сили і металу було в нім стіль-ки, що ні один оркестр не зміг би заглушити його!

— Господи Боже мій!—подумав я.—Скільки ще хоро-ниться із цього погляду непочатого матеріалу в нашій народній масі! І пробуде цілий свій вік нікому невідомим цей чудовий матеріал, тоді як витягнутий з темного надра народньої маси, він, в обробленій поставі, може був би гор-дощами своєї нації.

Доки я піддавався гадкам з поведи голосу співачки, не-далечко від неї щось шубовснуло у воду і пісня була пе-рервана лементом Дарини:

Ой матінко! От тобі й дійшла! Бо-одай тобі ні дна, ні покришки! І на біса ти мене покликала сюди? Я-б любі-сінько й тією стежкою дійшла... А то от бач!

— Що там тако? Упала, чи що?

— Де там у бісового батька упала?! Пірнула у прогалину по саму шию! А щоб тобі добра не було з такою морокою! Ну, це так... От ускочила, так ускочила!

— Та годі причитувать! Іди мерщій!

— Еге-ж... іди мерщій, коли я по пояс у багні! Варко! Іди-бо поратуй мене!

— Нічого й сама вилізеш! Бач, ніженка яка! Думаєш, як з приказчиком вечір постояла, то вже й панею зробилась!

Плескання по воді все більше й більше наближалося до Варки і на решті її сміх з Дарини пояснив мені, що її товаришка на сам кінець добилася до неї.

— Ой лелечки! ой матіночки! От як би приказчик подививсь тепер на тебе... Ха-ха-ха! Плюнув би й галасвіта забіг! От красуня, так красуня! Ха-ха-ха!..

— Стривай лиш, я й тебе скупаю, то й ти покращаєш!—Слідом за цим разом з реготом почалось жартливе борюкання.

— Та годі тобі Дарино! От скажена! Пусти бо! Що тобі заздро, що на мені суха корсетка? Геть!

— А ти не смійся!

— Та як же не сміятись, коли ти немов та мокра курка... Ха-ха-ха!

— Ось посмійся ще... Йй-Богу пхну у воду!

— Та годі тобі! Сідай, одпочинем трохи, та підемо, а то вже не рано.

Борюкання стихло і тільки коли-не-коли було чути плескання й капання води: мабуть Дарина виполіскувала і викручувала свою мокру, оброблену в болотній твані, одіж.

— Ну що ж, Дарино, наймешся до економії, чи ні?

— А тобі що до того?

— Та так питаю... цікаво! Кажуть, що приказчик дає тобі по сім карбованців на місяць?

— Я знаю від чого він дає; тільки мене за сім карбованців не купиш!

— Дорога б то дуже?

— Та там уже дорога, чи ні, — а тільки приказчик не спроможеться купити мене!

— Вірно?

— Так собі й знай, та й кожному, кому про це цікаво знать, так і скажи. Я — не ти! То от як тебе, так твій Петро за пряник купить.

— Мене й купувати нічого, я вже запродана: після Спасівки за рушниками пришло.

— А після того й потирить аж у Томську?

— А в Томську, так і в Томську... і там люде живуть! Уже ж і в нас тут життя, так бодай би його чорти з кашек ковтнули! — додала вона трохи згодом. А ну лиш підіймайся, та ходім, а то ми тут до вечера теревені будем править!

Хоч мені спішити було й нікуди, але я рішив пристати до компанії подруг, з тим заміром, щоб як небудь вибратись з цієї чудової місцини, куди мене послав, нехай здоровий ходить, Хведір за лисками.

— А гов! Дівчата, чи молодиці, — біс вас знає хто ви такі, пождіть мене!

— Тю! — почувся звідти голос. — Який там чорт озивається?

— Туди к бісу! Уже й чорт!

— А тільки що! — додав другий голос. — Хто ж буде бідьш сидіть в болоті?

— Ну, тоді зйдемося до купи аж три чорти; бо й ви ж не на цвинтарі сидите?

Розлігся одностаїнний регіт. Очевидно, що ми порозумілися, як слід.

— А ну-ну, показуйся мерщій! Чого ти там засів?

— По неволі засів, бо ніяк не видерусь з цих анахтемських комишів! — вияснив я, продираючись до прогалини, з якої були чутні голоси моїх утішних провідниць.

Видравшись на прогалину я побачив двох дівчат, що, стоячи на великій купині, дожидалися мого приходу. Не дивлячись на всю непозірність мокрого, обробленого в мул охотничого убрання, моя поява створила великий ефект на дівчат, хоч ефект цей, кажучи по правді, був зовсім відворотньою вдачею. Обличчя веселух в мент змінило свій веселий вираз і у всій їх поставі ясно була видна зроблена моєю появою непевність. Очевидно було, що вони ні в яким разі не ждали побачити те, що з'явилося перед їх очима, що й незабарилось справдиться мимовільним, ні до кого неналежним викриком однієї з них:

— От тобі й раз!

— От тобі й два! — одмовив я в такім же тоні. — Добридень вам!

— Здрастуйте! — соромливо одмовили мені дівчата і знов потупились.

Дві подруги, що стояли передо мною, уявляли собою доскональну протилежність одна одній. Одна з них, висока як тополя, чорнявка була на диво хороша з себе. Щупле, покрите смагою, обличчя мало на собі ознаку зваги і невгамовної волі; невеличка складка між бровами визнавала натуру, яку, як кажуть, не нахилеш, куди схочеш. Але що найбільш було у неї гарного, так це темно-блакитні очі оторочені немов би тонкою бахрамою, довгими рісницями; зверху обрамляли їх дугою тонкі, мой той шнурочок, чорні брови. Такий контраст дуже рідко приходиться стрічати.

— Як це та сама, — подумав я, — якій приказчик дає по сім карбованців на місяць, то він має добрий смак! Але ж, як видно з її речей, то й вона ціну собі знає!

Друга її подруга була тонка, маленька, — на вид зовсім дівча, — білявка, з щуплим, симпатичним личком і з маленькими, як у панянки, рученятами.

— Хто це з вас співав тут зараз пісню? — обернувся я до чорнявки, будучи певен в тім, що забалакав з власницею чудового контральто.

— А он Варка! — показала вона на дрібненьку подругу.

— Та невже?!

— Чогож це ви так здивувались?

— Та так... Я б ніколи не подумав цього.

І справді! Ні за що в світі не можна було припустити, щоб у такому вутлім сотворінні містивсь такий могутній голос! Я ніяк не міг визначити собі її дійсний зріст: на перший взір трохи не дитина чотирнадцяти-п'ятнадцяти років, — але в очах було щось наче вже жіноче.

— А скількиж тобі літ, Варко? — не стерпів я, щоб не запитати з поводу її зросту. — Років п'ятнадцять є?

— Щож я дитина, по вашому, чи що? — усміхнулась вона.

— На мій погляд мало що не так.

— Хороша дитина! Мені від Петра дев'ятнадцятий уже рік пішов...

— На таку дитину великої няньки треба! — не стерпіла, щоб не додати від себе чорнявка Дарина. Ми всі зареготались, що й послужило до відновлення захитаної моею появою ймовірності до мене.

— А ми думали, що то хто небудь з наших озивається, — промовила Дарина.

— З яких це ваших?

— Та з наших, з простих... з селян! — поправилаь вона.

— Ну а яж, по вашому, з яких?

— Та хтож його зна... не розбереш!

— Невже так трудно угадати? А тобі як здається Варко?

— Здається так, що ви з панів. Хоч і балакаєте по нашому, по простому, а скидаєтесь на пана!

— З чогож це видно?

— Та з усього!—підхопила Дарина. З простих ніхто не буде у буденну пору вештатись з рушницею. Та й рушниця й торбинка... навіть і руки не мужичі!

— А що такого перстня; то вже запевне, що ні один проетий не надіне на свого пальця!—додала від себе усміхнувшись Варка.

— Ні, дівчата, помилились: простісенький, такий же, як і ви! Рушниця і перстін—то нічого не означа, а руки? Руки он і в тебе, Варко, такі, як у панянки.

— Балакайте... Далеко не рідня!

— Ну, коли хочете йти з нами, то ходімо!—промовила Дарина спустившись з купини і оббираючи на собі одіж.—Ми вже й так аж надто забарились.

— Про мене, то й ходімо. Мені й самому хочеться скоріше вибраться звідціль!—З цими останніми словами я знову подався продиратись кріз комиш, тепер уже під конвоєм Дарини й Варки, з яких перша вела перед, а друга замикала наш похід.

— Невже ви без нас не знайшлиб відціль дороги? запитала мене не обертаючись Дарина.

— Запевне, що не знайшов би. Я вже більш двох годин плутаюсь тут проміж цим очеретом. А ви куди це чимчикуєте?

— На острів, за Криве Болото, плоскинь брати.

— Хіба вже пора?

— Рано сіяні коноплі!—обізвалась ззаду Варка.

На цім розмова перервалась. Ми увійшли в такі нетри, що треба було дивиться, щоб не пірнуть по пояс у драговину. Вибравшись на безпечнійше місце, мені захотілось пошуткувать з Дариною, ошарашивши її своїм питанням.

— Щож тобі казав приказчик учора вечером, Дарино? Прибавив що небудь на сім карбованців, чи ні?

— Про те вже мені знать, а вам до того діла зась! Дивіться краще собі під ноги, а то ще вскочите у драговину!

От тобі й раз! Замість того, щоб привести в замішання Дарину, я сам спік рака! Після мого недоречного питання Дарина більше вже не приставала до розмови, яку ми вели нарешті всю дорогу з Варкою. Мені було дуже досадно на себе за те, що я ні за що, ні про що образив своїм питанням дівчину. Накінець ми вибрались на луки, що прилягали до Кривого Плеса.

— Тепер, як що вам треба на той бік, то йдіть прямо по цій стежці. Там наліво через рівчак будуть жердки, так ви перейдіть по них й вийдете до моста. А нам звідціль треба направо,—пояснила мені Варка.

— Ну, спасибі вам, дівчата, що провели мене!—з свого боку подякував я дівчатам і щоб хоч трохи загладить свою провину перед Дариною, що стояла осторонь, не дивлячись на мене, я достав з кишені два четвертаки і, подаючи їх дівчатам, промовив:

— Візьміть, будь ласка, це вам буде на стрічки!

— Ні, спасибі! На що там?—одмовила Варка ховаючи свої руки.

Дарина повернулась і пильно глянула мені у вічі. Мабуть вона запримітила в них просьбу пробачить мій недовладний вчинок, бо вслід за цим рішучою ходою наблизилась до мене, взяла з моїх рук два четвертаки, один з яких тутже й передала Варці, і усміхнувшись додала:

— Спасибі за ласку!

— А ти не гніваєшся на мене за мое питання?

— Ще що вигадайте! З чого це вам на думку спало?

— Та бач я подумав так по твоїй одмові.

— То я жалючі вас так одмовила! Ви знаєте приказку: „багато будеш знать, скоро зістарієшся!“ А ви ще молодий, то я й пошкодувала вашої вроди! Загальний сміх запевнив мене в тім, що всяка неприязність проміж нами порвалася сама собою.

— Ого!—подумав я по її одмові—Що птах такий, що не дивлячись на свою одіж і простий рід, чого доброго не буде почувати себе незручно і в гостинному покої!

— Ні, Дарино, то ти помилилась!—промовив я, щоб подивитися на неї ще хоч трохи.

— Як?

— А так! До мого вчинку краще належить інша приказка.

— Яка?

— „Не до тебе п'ють, то й не кажи здрастуй!“

— Коли вам краще ця здається—прийміть і цю. Прощайте!

Дівчата повернулись, щоб іти

— Слухай сюди, Варко! Заспівай дорогою, як підеш звідціль, ще яку небудь пісню, а я послухаю!

— Добре, слухайте!

— Тільки як що вдруге стрінетесь з нею, то четвертаком вже не одбудете!—додала Дарина засміявшись.

Вибравшись на сухе місце, я ніяк не зміг побороти в собі бажання відпочити як слід після свого блукання по воді і комишах. Знявши чоботи й мокру верхню одіж, і доручивши сонцю виявити на них свою силу, я розлігся на м'якій траві. Запаливши цигарку і устроївши очі в небо, я почав думати на тему: де тепер носять чортяки мого Хведора, що так приємно порекомендував мені настріляти у цих нетрах тих лисок, яких, до речі будь сказано, я ні жадної й не бачив, бодай би вони всі повиздихали йому на втіху!

Думки мої були перервані пісню, що залучала трохи згодом:

„Голівонько моя бідная,

В мене ньенька тай не рідная...“

Широкою хвилику розлягався дужий, чудовий контральто Варки. В нижнім своїм регистрі мужній, баритональний тембр, на верхніх високих нотах тремоловав і викочувався немов би чутний здалеку дзвоник. Ой Боже-ж, який голос! Жаден музичний струмент, по моему, не зміг би змагатись з ним у голосовій чистоті. В горлі тієї дівчини був схований великий копитал... Мені аж жалко стало, коли

подумав я, що ні вона, ні хто инший не скористується тим копиталом. А голос розлягався і мов би плакався на те, що не почують його ті, хто зміг би оцінить його достойність, схилитись перед ним і разом з тим упитися його красою чарівною.....

„В мене ненька тай не рідная
Дружинонька неймовірная...“

— Тьфу! Бодай тобі ні дна, ні покришки! От уже іменно, що не від чоловіка мудрість! Чи бач, аж луна розлягається, дарма, що серед дня!

Я оглянувсь. По-заду мене, схилившись на рушницю, стояв Хведір. Я так заслухавсь пісні, що й не чув його приходу, як він наблизився до мене.

— Це ти про віщо?—зацітав я.

— Та он чуєте, який голосина? Як виспівує?

— А що, хіба...

— Як би ви побачили саму співачку... Там таке щупляве, та мале, що шапкою на місці можна вбить!

— А ти почім же її знаєш?

— От вам і раз! Вона ж мені племінницею доводиться!

— Відкіля ж вона?

— А от із цього ж села, з Вербівки. Вони тут живуть з матір'ю у-двох... Сирота, батька немає.

— Ну, Хведоре, то твоя правда, що не від чоловіка мудрість! Я її бачив: вона зараз тут була з другою своєю товаришкою. Це яж її й просив, щоб заспівала.

Хведір неймовірно позирнув на мене.

— А чого вони тут були?—запитав він трохи згодом.

— Та спасибі їм, вивели мене з того чортового багна, в яке ти послав мене шукаць лисок, бодай би вони виздихали тобі на радість! А деж Льора?—спитав я, не бачучи собаки.

— Вона була оце зараз тільки зо мною. Мабуть тут десь бродить.

Хведір свиснув; трохи згодом з осоки вискочила вся як

хананок у грязьці Льора і скиглячи примостилась поруч з нами.

— Ну, що-ж, убили що небудь, чи ні?—запитав Хведір дивлячись на мою стрілецьку торбу.

— Навіть і не бачив нічогоісенько! Ще хвалити Бога хоч за те, що благополушним вибравсь звідтіл! Ти мабуть навмисно послав мене туди, щоб я тобі подякував за це?

— От оказія! А я на тім тижні аж шестеро лисок устрелив там. Куди ж вони, справді, поділись?

— Спитай їх, коли побачиш! Ну, а ти як?

— Мені так чисте наказаніє Господне з моєю рушницею... Прято таки неначе чортяка на неї сів!

— Як?

— Та прямо ні к бісу діло! Мало зі-зла не шьварнув її об пеньок!

— Давно пора! Сідай та розкажи, в чім річ?

— Та в чім там річ!—почав, сідаючи на землю, Хведір.—Ви пам'ятаєте отой залив, з боку якого Льора зігнала позавчора дубельта?

— Ну?

— Ну, ото зайшов я до нього з того боку, з очеретів—зирк! плавають дві крижні. Я зараз присів тихенько й стережу: чи не сплинуться, думаю собі, до купи? Коли це чую оддаль вистріл, мабуть ваш. От, думаю, знімуться—і вже зготовивсь був стрілять, коли глядь: з комишу випливає ще троє крижнів... Я й рушницю опустил Трохи згодом як зашумить щось надо мною!.. підняв я голову—аж хмарою на мене спускаються чирята ... Так і усипали перед дулом плесо! У мене аж затіпалось усе... Скинув я бриля, положив збок себе, приладнав рушницю на кривулячку з під лози, що росла поперед мене, приложився і навів як слід у самісіньку середину. От, думаю собі, жарну! Вже й подічив, що менш як нівтора десятка не поляже їх з одного вистрілу... А сам так і тіпаюсь увесь!... Потягнув за собачку—лясь! осічка... Бо-о-дай на тебе чортяки очі витріщили! Я мерщій зводить знов курок... А чирята

мої і головки повитягали, мов гвіздки: от-от спорхнуть усі до одного! Націлівсь вдруге—лясь! знов осічка... Пррр!... Піднялись мої чирята мов та хмара вгору... а я чую, що в стволіні, в моїй рушниці, засичало... зараз, думаю собі, проклята рушниця гукне!—та й веду її слідом за чирятами... з похвату заплутавсь нею у лозі... Торрррррх!!.. у білий світ, мов у копійку... Та ще до того як дмухнуло мені в щоку, так аж каганці засвітились у очіх! От не повірите, їй-Богу побоявся й плюнуть: мені здалось, що в мене повен рот повибиваних зубів; коли попробував пальцем—ні! Хвалити Бога благополучно обійшлося. А от щока, так мабуть подушки класти в голови не треба буде цілий тиждень: буде на чому спать! Так от яка оказія!—додав він сплюнувши.

Тут тільки я звернув увагу на його щоку і запримітив, що вона дуже оддувалася, немов би в мого Хведора розпочинався флюс.

— Сам винуватий! Я скільки разів казав тобі, щоб ти брав мою рушницю.

— Та що ж там ваша рушниця?

— Як що? Що ж вона гірша твоєї?

— Та не в тім річ.

— А в чім же? Хіба в тім, що моя рушниця не така весела, як твоя? Перед тим, як випалить, то у неї ніколи не засичить у стволі й не заграє, як у твоїй.

— Е—ет, вигадуйте!

— Ну, так в чім же?

— А в тім, що я до своєї рушниці приспособився, от що!...

— Як то приспособився?

— А так! От я, примірно, знаю, що моя рушниця забірає трохи вправо: то я вже як стріляю, то й беру на ціль лівіш! А з вашої я пробував—так нічого не виходить: хоч як прицілишся—все лихо!

— То ви такий стрілець.

— Та що там стрілець? Вона, ваша рушниця, хоч і дорога, а толку в ній, по мойому, зовсім мало.

— То не рушниця, а так... цяцька! Візьмеш—її й в руках не чуть, а випалить—то так неначе батогом по воді хто лясне!

— Тут він узяв свою рушницю,—завдовшки з сажень, а вагою мало чим уступавшу гаківниці,—ніжно погладив її, подув у ствол, приложився з неї і додав:

— От рушниця, так рушниця!—Вже як улущиш в що, так чорта пухлого полізе з місця! А як гукне, так верстов за десять чуть!

— Та ще до того й в щоку поцілує!—додав я не стерпівши, щоб не засміявся.

— Смійтесь, смійтесь! От стривайте, як я її карасиною промію та змажу лоем, то ви сховайтесь з своєю дубельтівкою!

— Хоч медом змаж, то не покращає!

— Знаючи консервативну схильність Хведора до своєї „гаківниці“, переробленої ним з кременної фузеї, я залишив цю розмову, будучи певен в тім, що Хведора не переконаєш.

— Ну що ж, так таки нічогосінько й не встрілив? перерів я розмову на що инше.

— Ні, після того двох чирят звалив за луками, по той бік греблі, трьох бекасів та широконоску,—витягаючи з торбини, показував Хведір свою ловецьку здобич. А ви?

— Я не такий щасливий: пару чирят тільки й встрілив.

— Та-а-к... Та певже ні одної лиски й не бачили в прогалинах?

— А ні пера!

— От диво! Ну, тепер же куди почимшикуєм?—запитав він трохи згодом.

— Я так натовмився, що бажав би відпочити хоч трохи. Що, ми далеко від Вербівки?

— Чого ж там далеко? Вона ж по той бік зараз, верстов з три чи й буде.

— Так знаєш що? Ходім лиш ми туди! Рівно ти кажеш, що у тебе є там родичка, мати тії Варки... З'їмо у неї яєшні й відпочинем трохи.

— А що ви думаєте: й справді так! А потім над вечір переберемося через гору та пушукаємо по той бік на степу ще стрепетів...

— І то гаразд!

— Ну, так коли йти, то й ходімо мерщій!—додав він підіймаючись. А то воно не рано вже!

Узувши чоботи й убравшись у свою ловецьку зброю, ми знову з Хведором зашльопали болотом, продираючись кріз осоку й комиш, на цей раз в надії падолужити себе у його родички в Вербівці за все негіддя сьогодняшного дня.

Прийшовши до Явдохи, Варчиної матері, ми як слід там закусили й виспались. Подякувавши хазяйці, ми вже виходили з двору, коли на воротах стріли Варку. Вона аж надто здивувалась, побачивши мене в своїй господі.

— Як це ви до нас попали?—не стерпіла вона, щоб не запитать мене про це.

— Та бач, прийшов напрохатись на весілля. Ти-ж після Спаса йдеш заміж?

— Що ж, милости просимо!—одмовила за неї мати. Дуже будемо раді!

— Що ж до Варки, то вона почервоніла й потупивши до долу очі, мовчки перебірала свою запаску.

— Ну, прощайте, поки що! Жди ж мене, Варко, на весілля!—промовив я в останнє і ми з Хведором мерщій почимчикували з двору, бо сонечко давно вже з полудня звернуло, а до степу було не близько.



В одно з моїх актьорських блукань судьба закинула мене далеко від України. Трупа, в якій я служив, скінчивши свої гастрольні вистави в городі Є*, повинна була перекочувати ще дальш на північ в губернський город П*. Одіславши свій багаж ще зранку, я не вважаючи на те,

що до відхода поїзда, з яким ми повинні були виїхати з Є*, було більш ніж дві години, наваживсь їхати на вокзал, бо прямисінько таки не знав, куди діваться й що робити від нудьги в вечірню добу в своїй пустій квартирі.

На дворі стояла пізня з усією красою, мекра осінь. Болеса розбитої бандури, з звичайним менням „фаетона“, на якій до вокзала волік мене обшарпаний биржак, попадаючи в калюжі застоюної по вулицях води, немов би заливались від запалу, обливаючи струмінням йверня моє пальто. Лихтарі блимали по пішоходах, освічуючи мряку навкруг себе не більше як на сажень, і в бородьбі зо тьмою набивались на якийсь то надзвичайний жаль! Яку ж то міг поставити відпорну силу їх петрольний, тьмянний світ цій осінній темряві надвірній, узброєній туманом і дрібним, немов би то кріз сито сіючим, дощем? Не вважаючи на ранню добу, — було не більш восьми годин над вечір, — на пішоходах не було видно ні одної душі; тільки порівнявшись з якимсь освіченим будинком, почувлась груба, викрикнута кимсь лайка. Я трохи висунувсь з бандури, глянув і зрозумів все чисто: ми проїздили побіч „монопольки“. Не далечко од дверей на пішоходах, під дощем, стояла юрба якихсь то обшарпанців і, мабуть користуючись негодою, — що порозгоняла майже всіх дозірців за порядком по квартирах, — шамувала одно одного самою високопробною, у дві і в три осаді, лайкою.

Дивна річ! Ні один народ на всім світі не має в своїй словниці такої гидкої, улюбленої лайки, як москаль! Не знаю як і для кого, але на мій розум здається, що більшої образи не сила, навіть пригадати, як та цинічна лайка, якою скрізь і всюди поштує із пересердя й ласково одно одного не тільки темний, простий, але навіть і більш освічений москаль. Від чого це? Невже народ такий розпусний у своїм загалі, що йому з душі не верне від такої лайки? Чи він настільки не освічений, що ніяк не зможе розібратись в тім, яку до жаху величезну і страшну образу він вчиняє матері свого напасника, а инколи і

друга, жінці, що йому самому не заподіяла жадної образи і здебільш зовсім йому навіть невідомій? Не може ж бути! Це ж треба бути зовсім бидлом! Огідно!

Не буде шинків,—продовжав я думать далі,—не буде такого п'янства, не буде огиди, менш буде чутно по вулицях і перехрестках брудної лайки, робітництву й селянству не зручно буде пропивати свій злидений грош,—так міркували всі дбачі народнього добра при тім, як вводилась казённа пропінація. Деж пак! Держить кишені ширше! Натуру взяту народом ще до Володимира Святого не можна скоро скасувать, так само, як не можна обезвредить пійла тим, що пійло те, замість неохайних шинкарок і шинкарів будуть продавати парадниці *mesdames* або чиновні *messieurs*! От колиб можна було зробіть так, щоб законом заборонить ужиток того пійла, під загрозою засуду на смерть, ото так! От тодіб уже й я запевнивсь, що то спосіб рсдикальний. Нехай би десять, навіть двадцять 0/0 із громадян російських, що не перемоглиб своєї жаги, тим або иншим способом одправились *ad patres*,—але за теб вісімдесят 0/0 і весь нащадок їх збулись би свого згубного звичаю. А инш—ніякі паліятиви не поможуть! Одно що небудь: або дійна корова для казни, або народне здоровля і його добро. А то хочеться, щоб і сіно було ціле і кози не голодні! З одного боку „Общества трезвости“ заводять, а з другого до міліярда користи збирають за народну отруту. Як це все в'яжеться одно з одним? Кумедія, тай тільки!

Мої думки на цю тему допомогли мені непомітно добратись до вокзала.

— „Тпррру!.. Праежжай што-лі ча!.. розлігся голос мого биржаника.

— „Нешто те места мало? Не рав'едьсья!?.“ почувлась відповідь поперед його.

— „Да штож ти стал перед пад'ездом-та?! Лешій! Віш, еду с пасажиром! Не в гряз же ему славіть-та?!... Чорррт! Но-о“—і мій візник рішучо порушив віжками.

— „Не напірай дишлом, гаварят те, дьявол!“ уже з погрозою гукнув передній голос.

— А ти праежжай, ррас-так і перре-едак!..“ сипонув йому на відповідь немов би то картечем мій візник.— „Но-о!“—знов крикнув він на коней.

— „Парві, парві толька будку, де-ек я те ррастак і перре-едак!“—новий варіант.— „Я те жива ррило на запад сварачу!..“

Мабуть довгоб ще продовжився замін ввічливости між биржаками, колиб не встряв в цю суперечку поліціант, перепросивши „честью“ (огрівши по потилиці) переднього биржаника проїхать трохи далі; дякуючи йому не прийшлося мені вилазити з бандури прямісінько серед калюжі, сажень не менш як за десять від освіченого ганку ведучого в вокзал.

Увійшовши в вокзал і не зустрівши в ньому нікого з своїх товаришів, я справився за свій багаж, розпитався точно, коли повинен був прибути той поїзд, якого нам треба. Часу до його приходу було доволі надто: цілі дві години! В вокзалі була така ж нудьга, як і в квартирі. Привілейована саля була зовсім пуста. Цікавого в ній було мало. В однім куті гулящі льокаї в півголоса провадили проміж собою тиху, але гарячу розмову. Одноманітно паруючи, шумів на ляді великий самовар, закриваючи собою ситу, плесконосу фізіономію татарина буфетчика, що куняв над якоюсь газетою. Розвішані скрізь по стінах оголошення й реклами, собака в ошийнику, що сновигала по-під столами, пасажир, що спав на каналці у-ростіж, вертка телеграфистка, що разів зо три пройшла по однім і тим-же місці мимо зеркала в убіральню й назад—малюнки кожному проїзднику доволі вже знайомі.

Нудьга!..

Я вийшов на перон. Коло вокзала і вдовж по лінії направо і наліво блимали своїм мизерним світлом лихтарі. Часами глухо було чути, як перекликались свистом паровози. По пероні, підтуливши хвіст, пробігло якесь забите

цуденя. Дощ не вгавав ані на хвилину і не падав, а прямо таки сів мов кріз сито. Здавалось, що й кінця йому не буде.

— „Мікіт, а Мікіт“ — почувлось у темноті на рельсах.
— „Чай ньобо, братеу, правалілось?“

— „Ньобо то нолі правалілось, нолі нет,— а у меня уш за спіной і голенішшамі настаяшшій, брат, патоп... Што б те правалитца пучеглазій чорт! Сам, ньобось, сідіт в тепле і толькі яму й дела, анцибалу, што знай нутро то сваё чаем всьо палощет... а ти вот шпайсі тут па стрелкам! Што б те рознесло, праклятий! Право ну!“

— „Дда брат... ето ти дістлительно верно... Эх! жість сабачья, рррас—так і перрре—етак!“ і сілуети говорунів із лихтарем потонули в темряві супротиленної вокзалу сторони.

Я, запаливши цигаро і піднявши комір у своїм пальті, від безділля і пудьги почав міряти тихою ходою перон в напрямі його кінця. Зайшовши вже ген-ген далеко від вокзала, я почув якусь то шамотню і кашель, що доходили з піддашку притуленого до перона дощатого сараю.

— Дідусю! а киньте лиш сюди мій клунок... Він там десь з-боку вас!

Несподіваність цієї української фрази, почутої на півночі, стільки мене здивувала, що я негайно наблизивсь до сараю, маючи на мені довідатись: кому вона належала? Як я не придивлявся, але дякуючи надвірній темряві не зміг нічого роздивитись під піддашками. Звідтіл чулося тільки инколи перериваєме недужим кашлем сопіння сплячих. Запаливши сірника і трохи освітивши глиб піддашку, я зрозумів усе: покотом лежавша передо мною в осінню непогодь по часті під дощем „живая кладь“, були переселенці з України в степи привольної Сибірі, або назад звідтіл.

— Здрастуйте, земляки! Спите, чи ні?—привитав я їх питаючи.

— Здрастуйте!—почулась відповідь.—Який там у бісового батька сон, коли всього тебе немов би голками пронизує той холод!

— Давно ви тут гостюєте?—запитав я знову.

— Та хвалити Бога треті сутки нас тут квасють...

— Та щож поробили?—почувся другий голос. Мабуть бояться, щоб не зачерствіли, поки до дому з'явимось.

— Кудиж ви їдете і звідкіль?

— Е, як би то їхали, добродію, то тоб нічого... а то як бачите „везуть!“ Як з дому їхали, то хоч і приходилося инде ждати, то ждали у „гобзали“, а як звідти „повезли“, то й шана вже не та.

— Добра шана!—обізвався жіночий голос.—Бодай би грець уже убив з такою шаною!—Мабуть що з боку неї завозилась і заплакала дитина.—Тихо!—сердито обернулася вона до неї.—Лежи вже каторжне хлоп'я! Хвилини не даси спокою! Дідусю, киньте бо мій клунок! Вона, мабуть, їсти хоче!

— Та з Томської губернії, добродію, бодай би вона кригою покрилась вся!.. Бач же повірили дурні тим скоробрехам, що ходили роздивлялись на місце, тай ускочили „по саме нікуди“, як кажуть. Як наказали нам, так так-го, що тільки янголам і жить там!

— А вийшло, що й чортів на прив'язі не вдержиш!—додав вже другий голос.

— Та хтож то вам наказав?

— Та хтож там? Ніхто ж більш, як наші ходаки, бодай би їх взяло за пупа! Ім що таке? Зібрали з нас, дурнів, гроші, а потім за тіж самі гроші поскупувували наші хати тай осілись дома. А ми,—бач, з дуру потирились у Томську шукать раю!

— Тай натрапили на пекло!—окселентував жіночий голос.

— Та на таке пекло, що мало того що обшмалались в щент, а ще чи й вернемось назад благополучно? Вже трое з наших Богу душу віддали, нехай цартвуют! Чи ви б добродію, не дали мені хоч трохи тютюну?—згодом обернувся до мене мій розмовник.—І шеляга чорт ма й купити ні за що. Ну й бісова ж то звичка!—немов би в оправ-

дання додав він.—Не ївши якось легше терпиш, а як чорт ма чого купить, то так тебе немов би обценьками за серце вхопить, тай тягне й тягне... Тьфу! скажена звичка!

— А що мабуть по такій погоді, дяльку Йване, й недокурків не назбірала?—запитав з усмішкою чийсь голос.

— А ти лежи, коли лежиш осклівши! Тобі який біс? Живіт з голоду ще не підводіть! Теж цвірінька! Поцвірінькав би, коли-б з дому грошей не переслали!

Я витяг портсигар, достав цигарку і подав її у темноті своєму розмовнику.

— От коли б, добродію і нам на всіх дали хоч штук зо три!—почулося прохання з купи, але мій портсигар був порожній.

— Стривайте я зараз принесу!—і повернувшись я пішов в вокзал, що-б купити їм хоч пачку тютюну.

Тільки що увійшов я в салю третьої класи, як зараз у дверей хтось злегенька торкнув мене за лікоть.

— Паничу!—почувся позадь мене несмілий голос.

Я оглянувся. Передо мною з дитиною на руках потупившись стояла малесенька худа жінка; друга, мабуть що теж її дитина, лежала, згорнувшись клубочком у неї в ногах.

— Це ти прох...—і я не скінкив. Передо мною потупившись стояла... Варка.

— Це ти Варко?!

— Я, паничу.

— Ти мене пізнала, чи так?

— Пізнала, паничу... Я вас пізнала ще, як ви пройшли туди.—Вона вказала пальцем на привілейовану салю.— Я так зраділа... кинулась, хотіла було догнати вас,—але мене туди не пропустили.

— Яким ти побутом тут опинилась? Невже з переселенцями? Деж твій чоловік?

— Петрові мойому... царство небесне... Торік ще вмер...

— А як же ти тепер? Це ж твої діти? Як то ти маєшся?—запитав я.

озумен-
двері
увій-

мада,
ли на
й за-
ращо
тим,
ється
ною.
вши
го з
той
це-
уже
яка
кна
нй
ба
з-

І не кажіть уже про це... Як що й до дому живою доберусь, то не на радість. Мати стара сама перебивається Ти Боже бачиш як, а тут на тобі ще й нас, аж трое дармоїдів... Господи мій милосердний!—додала вона з одчасем.—Коли б тільки гріха того не страшно, та не жаль дітей, то... під ту ж машину між колеса кинула б! Хоч би який небудь кінець тому поневірянню!

— Бог з тобою! Що це ти вигадуєш? Бог дасть доїдете, все піде як небудь на гаразд!

— Е-е, де вже там?... Не про нас, мабуть той „гаразд“ живе на світі!

— Та що це ми тут стоїмо? Ти може їсти хочеш, Варко?

— Та я то... про себе байдуже; а от бідна дитина так прямо ізвелась уся!—Вона указала на дитину, що спала у ногах в неї.—Як виїхали, то й разу ще нічого горячого не їли.

— Так чого ж ти мовчиш? Ходім лиш!

— Куди?

— Он туди!—указав я на привілейовану салю.—Там і повечеряем як слід.

— О, ні! Я туди боюсь... Туди не пустять!

— Нічого, нічого, ходім, пустять! Буди дитину. Що то син, чи дочка?

— Обоє сини... Івасю А ну лиш, моя дитино, підіймайся!—нагнулась вона, штовхаючи злегенька за спину дитину.—Чуєш, Івасю? От уже розкис! Мерщій бо! Он дивись, дід Назар борщу несе! Мерщій бо!

— Дід Назар з борщем зробили свою силу: Івась підвівся з долу, але глянувши посоловілими очима і побачивши замість діда Назара якусь то зовсім не знайому йому парсону, та ще до того й без борщу, зарюмсав. Заспокоївши його ми пішли у привілейовану салю.

Варка була цілком права у своїй обаві: поставлений в дверях швайцар рішучо загородив дорогу таким непочесним з виду пасажирам, як Варка й її сем'я. Срібний злотий,

що перемістився з моєї кишені до рук увітчаного позументом цербера, створив повинне чародійне вражіння: двері були ввічливо розчинені навстяж і ми без перешкоди увійшли в освітлену салю.

Залита електричним світлом саля і фешенебельна громада, що під'їхала тим часом к приходу поїзду, так вплинули на несміливу натуру Варки, що вона тут же на порозі й застигла в своїм ваганні: чи йти за мною, чи може краще вернутися назад? Поглянувши на неї, я пожалкував за тим, що не загадав подати вечерю в непривілейовану салю. Вертаться якось то було не зручно і я присогласив Варку йти за мною.

Напавши на окремиий столик у куточку і усадовивши коло нього свою несміливу компанію, я прикликав одного з льокаїв, щоб загадати йому вечерю. Не дивлячись на той смутний малюнок, який був у мене перед очима, я ледве-ледве здержав сміх. Не будучи навіть фізіономістом дуже ясно можна було розібрати на лиці льокаія ту думку, яка виринула в нього в голові. Думку ту без помилки можна було визначити словами так: „Покажи лиш спершу, добрий чоловіче, гроші, а потім і загадуї, чого там тобі треба буде; а без цього аргумента дістанеш дулю з маком! Занадто й ти сам, пане—брате, з своїм задрипаним пальтом, та й компанія твоя, щось дуже то не тее“...

Вгамувавши його підозри з погляду цього врученим йому „на чай“ четвертаком, я наказав вечерю і поки її лагодив, зробившийся аж надто прислужним, льокаї, я став розпитувати Варку про її бездольне життя. Смутне було її оповідання з початку і до самого кінця.

На другу весну після шлюбу вони з Петром, у-куші з иншими своїми односельцями вийшли „на сходку“ у Томську губернію. Замість усих тих благ, про які наторочили їм оптимісти-ходаки, вони, доплентавшись до нових місць уздріли там зовсім не те, на що так дуже сподівались і що думали побачити, дякуючи тим же самим ходакам. Оглядівшись навкруги, переселенці зразу впали духом. Навперш всього їх дуже неласкаво привітала сувора природа північ-

ного краю. Нема другої України, як не пливе й другий Дніпро! Все здавалось там не тим, що було на рідній стороні. І зажурилися під непривітним небом суворої Сибіринини далекої, благословенної, хоч і скупкої останніми часами до своїх законних дітей, розкішної України. До всього цього прилучилось ще й матерьяльне незгіддя: перший засівок пшениці, весь пропав зіпсований морозом. Добробут підірвався. На другий рік ще гірше: на всі засіви упала якась то роса й вплинула на них ще гірше, ніж морози; хліба не зібрали навіть на насіння. В слід за цим для деяких переселенців настала вже „кабала“; в число цих „деяких“ попав і її Петро. Незабаром Бог послав другу дитину. Життєве знегіддя й нудьга по родині чим далі, тим більш примушували молоду пару жалкувати за покинутим далеко десь то на Україні насиженим гніздом. На сам кінець думка про поворот назад до дому зробилась *idée fixe* Петра і Варки. Ця думка заставляла їх над силу працювати по наймах у чужих людей для того, щоб яко мога швидче заробить ту суму, яка була потрібна для проїзду на далеку, так легкокомисно покинуту ними, Україну.

— Отут то він сердяга й занапастив своє здоров'я!—з тяжким зітханням промовила журливо Варка.— Він був по рукометству—пильщик. Стали вони з другим своїм товаришем у одного заміжного підрядчика розпилювати сосну на брусея до мостів. Накочуючи на станок кряжі—не оберегся, з гаряча понатуживсь і мабуть що підірвався, бо з того самого часу почав марніть і день за днем мов свічка таяв. Усе жалівсь, що в животі і в грудях щось болять. Що вже я не робила, з ким не радилась? До лікаря верстов за сімдесят ходила... Дав якісь то порошки... нічого не помогло: все гірш і гірш становилось йому. Не повірте—висох весь немов та скіпка, дивитись страшно! І в чім тільки душа держалась? А все одно було толкує: що колиб Бог дав мерщій одужать, та до дому; а того і в тямки вже не брав собі, що з зароблених на дорогу гро-

шей зосталася далеко менша половина. Тай не диво: більше року так тягнув він бідолаха... заробітку нема, а їсти й пити треба... І так уже, як кажуть, перебивались з дня на день, як старці. На останок все покладав надію на весну. „Прийде, каже було, весна, скоріш одужаю!“ Діждались і весни. Прийшла вона, та не на радість... Прийшла, а потім і пройшла, та й його з собою захватила. Умер, зоставивши нас на чужині, без жадної надії не те що на що небудь краще... а навіть і на те, щоб... Тут Варка упустила ложку і припадаючи до столу якось то глухо, ледве чути заридала... Здавалось так, що не вона, а щось у середині в неї стогнало, безнадійно скаржучись на мачуху-долю.

Дивлячись на матір, Івасик теж насупивсь і я ледве-ледве його заспокоїв, давши до рук замість іграшки свій срібний портсигар.

— Запевно, Аркадій Павлович, ізучаєте народні типи? — з насмішкою почувся ззаду мене знайомий голос. Я оглянувся. Недалечко від нашого стола, оточена навкруг прихильниками, стояла наша прімадона. Мене так зацікавила своїм оповіданням Варка, що я навіть не примітив, як вони увійшли в салю й наблизились до стола, за яким ми сиділи. Будучи під впливом сумної розмови, я на стілько був зворушений наївно-глумливим тоном артистки, що в перший мент ледве здержав прикру відповідь готову зірватись з язика, але де-що зміркувавши—схаменувся.

— Ні, Варваро Павловна, на цей раз помилились!— відмовив я в іншому тоні.

— Невже?

— Як Бог свят правда! На цей раз ізучаю у цім безсилім тілі—я показав на Варку—на вдивовижу сильний дух! Цей дух устояв проти таких страшних натисків судби, що колиб, на лихо, ці натиски постигли нас із вами, то повірте, що від нас зостався-б один „міф“!

Побачивши з бок себе таку парадну паню оточену панями, між якими були й такі, що мали на собі кокарди

й еполети, Варка полохливо підвелася з місця і потупившись з якимсь то ніби винуватим видом нерухомо стала притулившись до стіни.

— Сідай, Варко, чого ти встала? Посидь хвилиночку, я зараз... --заспокоїв я її.

Піднявшись з місця, я підійшов до примадони і взявши її під руку, одвів геть трохи далі од її кружка.

— Знаєте що, Варваро Павловна?

— Що таке?

— До цієї пори ви лічили мене за недруга собі. Щиро каюся: по правді то так воно й єсть! Не далі як три дні тому назад в однім місці, невідомо з якого powodu ви обмовились, що дорого-б дали за те, щоб проміж нас панували кращі відносини, ніж ті, які були до цього часу. Беру собі відвагу піймати вас на слові... Ви не ображаєтесь?

— Ані жє! Кажіть, будь ласка, у чім річ?

— А от у чім, високоповажанна Варваро Павловна! Виповніть ви мою просьбу і свідчусь Богом, що з цього часу ви не підозрите і тині незичливости до вас з мойого боку! Більш того: від цього буде залежати переміна моєї думки відносно вас!

— Будь ласка, любий мій Аркадій Павлович, кажіть! Як що ваша просьба виповнима за для мене, я завгодя вам обіцяю і візьму за превелику втіху бути вам чим небудь у пригоді!

— Не мені, а через мене он тій безталанній жінці з дітьми, що сидить за тии столом!—І я очима вказав на Варку.

— Але в чім же річ? Йї потрібна домога?—І Варвара Павловна заметушилась, щоб дістать свій portmone.

— Ні, Варваро Павловна,—зупинив я,—не таким способом.

— А як жє? Я вас не розумію! Скажіть же: як і чим?

— Перш усього дозвольте вас хоч трохи познайомить з сутями.

Слідком за цим я коротко передав їй смутну „історію“ співачки Варки.

— Тепер річ ось у чім Варваро Павловна. До відходу нашого поїзда остається ще ціла година. Попросіть ваших кавалерів допомгти, хто скільки зможе, вашій іменниці. Я більш ніж певен в тім що просьба ваша так співчуло буде принята ними, що зібрана сума не тільки допоможе їй дотягтися з дітьми до рідного кутка, але навіть і допоможе їй як небуть перебутись, доки роздивиться на старім своїм місці.

Я не помиливсь в своїому догаді. Варвара Павловна так скоро й зручно повела це діло і пропозиція її про за-помогу Варці була висловлена в такій формі,—що не тільки її прихильники-кавалери, але навіть і інші пасажири, неприналежні до їх гурту, охоче завволили віддати кожен свою лепту на добре діло. З свого боку я більше всіх був радий всьому тому, що скоїлося так неждано; хоч до цієї радости мимоволи примішалась деяка частина жалю.

— Господи Боже мій!— подумав я.—Як воно навіть у таким добрім вчинку проявляється властивий чоловікові стадний інстинкт! Адже поспробуй сама Варка пітти і в кожного просить для себе допомоги? Запевне б вся та допомога визначилась у яких небудь злидєнних копійках... А деякі, чоґо доброго, прикрикнули б ще на канюку! А тут зовсім инча річ! Узялась за все це діло показна пані, а з нею вкупі деякі з осіб чиновних... Усі дають, хто скільки зможе, то як же й мені, другому, третьому не дати? І жертва полилась!...

Як би там не було, а при прощанні з Варкою, крім купленого білета на проїзд, я передав до рук її більш ніж з півсотні карбованців грошей. Вона не лічивши зав'язала їх у хустку і заховала в себе на грудях. Почувши від мене точну суму захованих грошей, Варка остовпіла.

— Поничу, лебедику, ріднесенький!...—прийшовши до себе, недогадно залепетала вона, ловлячи мої руки.—Нехай вам Бог за все... за все віддячить! Нехай Він завжди визволя вас з напасти... так як ви порятували мене з дітьми...

— Годі, годі, Варко! Я тут не при чому... Піди краще подякуй отій пані!—вказав я їй на Варвару Павловну, котра задоволена своїм учинком сиділа й весело точила ляси з своїми кавалерами, дожидаючись дзвінка.

Варка наблизилась до неї, хотіла щось сказати, але замість того якось то безпомічно упала їй у ноги.

— Що ти? Що ти, Бог з тобою, Варко?!—підводячи її, знервовано промовила Варвара Павловна.

Українська річ, почута від пані, ще більш вплинула на Варку.

— Не зможу я подякувати як слід вам, пані... Пошли вам Боже щастя і всього того, чого сами попросите у Нього... а я... я...—і Варка плачучи припала до її руки.

— Стривай, стривай, Варко! Годі, серденько! Так зовсім не годиться... і Варвара Павловна, вирвавши від неї руки, нежданно за для всіх обхопила ними шию Варки і покрила поцілунками її заплакане лице.

Здається це був дуже рідкий раз, коли Варвара Павловна не грала привселюдно ролі, бо зазначені мною сльози на її очах запевнювали в тім, що почування на той час були у неї щирі. Поривисто зірвавши з свого пальця перстень і пхаючи його в руки Варці, вона знервовано промовила:

— На, Варко, ще оце... на спомин...

— Ні, пані, не треба! Спасибі й за те, що ви зробили за для мене...

— Ні, ні, візьми, будь ласка!—і Варвара Павловна сама наділа їй на палець перстень.—Нехай це буде тобі на спомин,—додала вона,—від другої співачки Варки. Аркадій Павлович казав, що ти колись була весела співачка і маєш чудовий голос... Правда?

— Е, де там, пані! То колись було, та вже пройшло, немов би сон той...

— Почувсь перший дзвінок нашого поїзда. Ми вийшли з Варкою на перон.

— А що, пак, Варко, як та друга твоя подруга, з якою ви проводили мене із комишів... забув як звать її...

— А-а, Дарина?

Еге--ж!

— До нас дійшла чутка, що вона вийшла заміж за приказника тієї економії, що з боку нашої Вербівки. А як живе—не знаю.

— Таки добилася свого!— подумав я.— Як приїдеш до дому, побачиш її, то кланяйся від мене!— додав я голосно.

— Добре... Як що вона тепер така-ж, як і перш була. А то може панею зробилась такою, що й підійти до неї страшно буде!

Другий дзвінок. Я попрощався з Варкою і пішов на місце свого вагона, а вона зосталась на пероні проти мене. Малий Грицько спокійно спав у неї на руках, а Івась рівнісінько нічим більш не цікавився, наминаючи, кимсь то презентований йому, великий медяник.

— Глядиж, Варко, як приїду колись у Вербівку, щоб ти мені переспівала всі пісні...

— Ні, паничу, я вже своє одспівала!— промовила вона і одвернулась, щоб утерти кінцем намотаної на голові хустки непрохану сльозу.

— Коротка ж була твоя пісня, безталанна Варко, коли так скоро підійшов їй кінець!— подумав я про себе.

Третій дзвінок. За ним два посвисти. Злегенька закрипіли снасти і поїзд рушив.

— Прощай Варко!— ще раз крикнув я, висовуючись із вагона.

— Прощайте, паничу! Пошли вам Бог всього...— далі вже нічого я не розібрав.

Від тоді я уже ніколи більш не бачив свічки Варки...

Гастрольори.

Іван Мартинович Куварда, актор невеличкої української трупи, прокинувшись в обідню пору, немов той Марій на руїнах Карфагена, сидів, звівши ноги на своїй порожній багажній скрині. Давно вже ця старенька, потерта скриня була йому за ліжку; з тих самих пір, як Варвара Савишна, хазяйка, в котрої він наймав квартиру, одібрала від нього, за несплату, пошарпаний топчан. На давно небритому, засіяному шерстю сивою щетиною обличчі його, не будучи навіть фізіономистом, можна було закріпити ясно написане питання: „чи варто жити далі, маючи на виглядах одну пригоду за другою?“

Річ у тім, що Іван Мартинович, як той зерелітний гусак, одбившись од своєї кочуючої трупи, без шеляга в кешені, третій день уже вилежувався голодний на своїй скрині, даремно напружуючи всю свою вигадливість на те, щоб знайти спосіб вискочити з такого анаємського становища. Не раз уже впадав він в такі становища в період своєї 30-ти-літньої акторської кар'єри і завжди йому удавалось,—так, або инак,—вискакувати з них; тепер же, як на гріх, замість вишукування вселяких способів вередлива думка раз-по-раз малювала перед його очима казнащо: коли не симетрично оточений закусками графинчик „очищеної“, так приятельську балачку у ресторані, або преферансик „по десятиї“ і інші, недоречні в його становищі, малюнки.

— І надав же мені біс посвариться в такий час з тим бидлом Нізраченком?!—мало що не в десятиї раз твердив він, поляпуючи себе руками по колінах. Нну... підожди, мій голубе, ми ще здибаємось з тобою коли небудь!

Теж... головарь трупи прозивається,—продовжав він, прилажучи пошарпані патинки на свої босі поги.—Рад що злигався з прем'єршою—силу свою став показувати... Другий рік, як ступив на сцену, а тудиж, погукує на всіх підчихвіст!.. Тьфу, „альфонс“ шолудивий!—і Іван Мартинович, зскочивши з скрині, почав, зворушений, зміряти з кутка в куток свій „курник“, котрий його хазяйка від чогось то називала „неблірованою“ кімнатою, хоч, правду кажучи, вся „небіль“ її складалась з старого ломберного стола, при двох стоявших по боках його асистентах стульцях-інвалидах, та олеографичеської, з відірваним різком, картини, з намальованною на ній вазою, з полинялими, покрапленими мухами, квітками.

Тихенький стук у двері, перепинивши маршування Івана Мартиновича, примусив його полохливо насторожитись.

Трохи згодом стук почувся ще раз.

— Знов чортяки притирили хазяйку за грішми!—подумав він з серцем і, обернувшись до дверей, крикнув.

І сьогоднішня ваша визита, Варваро Савишна, даремна! Сьогодні, также, як і вчора і завтра, мабуть так-же, як і сьогодні,—у мене нема й не буде а ні шеляга на заплату вам кватерних грошей! Прошу вас зрозуміти всю безнадійність моєї відповіді, Варваро Савишна!

Виказавшись так рішуче, Іван Мартинович знов увівсь на свою скриню з твердим заміром уперто відмовчатись на всі налягання уїдливої хазяйки. Коли це, несподівано для нього, замість скриплого голосу Варвари Савишни зза дверей почувсь несмілий кашель, у слід за котрим запинаючись, немов би то соромлячись чогось, забалакав м'якенький тенорок.

— Ів-ів-ван Март-тинович... вибачайте... це не Варвара Савишна, а я... по-по ділу до вас Ів-ів-ван Мартинович,—і тенорок знов закашляв.

— Та хто ви?—не добирав рахуби Іван Мартинович, підіймаючись з своєї скрині.

— Та я... пан Пташка, Дозвольте увійти!

— Заходьте!—з повагою промовив Іван Мартинович, похапцем розчісуючи п'ятірнею свою куштрю.

— З-з-запе-перто...—якось то болізно промовив тенорок, несміливо посмикуючи за клямку.

— А, щоб тебе грець убив... зовсім забудь!—промовив сам до себе зтиха Іван Мартинович і, шльопаючи зтоптаними патинками, поспішив відчинити накинуті на гачок двері своєї кімнати. Треба сказати, що звичка запиратись була давно вже ним присвоєна: це було в нього, як спосіб проти уїдливих кредиторів і кватерохазяїв.

Через поріг відкритої навстяж двері несміливо переступила зодягнена у чорний суконний сертук, маленька, щупленька фігурка.

Волосся, брови, невеличкі вуси з ріденькою борідкою і навіть все веснянкувате обличчя переступившого поріг гостя були якогось то цитринового, абож скоріш солом'яного кольору. Перед грузною фігурою Куварди, з'явившийся солом'яний чоловічок, не дивлячись на свої вуси й борідку, здавався зовсім дитиною.

— Здрастуйте... вви-ввибачайте...—несміливо подаючи руку, привітався „пан“ Пташка.

— А щоб тобі в тартарари провалиться!—подумав Іван Мартинович, признавши в ньому приказчика тієї крамниці, де він задовжився за тютюн „і инше“ більш трьох карбованців.

— А-а... мое шанування пану!—про те жваво обернувся він до гостя, стискаючи йому руку. Ви, мабуть, до мене за...

— До вас Ів-ів-ван Мартинович з прозьбою,—перебив його Пташка, пригладжуючи долонею своє солом'яне волосся.

— Знаю, знаю... але на біду собі не можу вам віддати нічогісінько... гроша щербатого чортма в кешені!

— Та я не з-за тим, а п-п-по иншій справі.

— А-а... по иншій справі? Н-ну, це инша річ!—засміявся Іван Мартинович. Прошу покорно!—запросив він гос-

тя, присовуючи до нього одного з двох стульців-інвалідів з вибитим денцем. Ну-с, так у чім же річ?

Заохочений таким витанням „пан“ Пташка, хоч і почервонівши весь як варений рак, але все ж таки доволі ясно став розказувать Івану Мартиновичу про своє діло.

Річ у тім, що внадившись до театру, „пан Пташка, на сам кінець, так зачарувався ним, що йому не сила вже була, як кажуть, перемогти в собі жагу до лицедійства, котра цілком опанувала ним. Під впливом цього він прийшов до кінцевого переконання в неминучисти змінити свою кар'єру а через те, раз на завжди, наважився: уступивши з служби по департаменту Меркурія, прилучить себе до жреців богині Мельпомени. Оце то рішення і привело його до Івана Мартиновича Куварди, як до людини, котра змогла б, на його розум, зробити йому велику поміч у цім ділі.

— Так от я й хо-хо-тів просить вас Ів-ів-ван Мартинович, щоб ви взяли мене на с-с-цену,—скінчив свою річ з цього поводу „пан“ Пташка.

— Стривайте... якж там у чорта сцена, коли ви заї-ка?!—розвів руками, впершу хвилю, Куварда.—А в тім —начхать на це!—зараз же додав він, зміркувавши де-що.—Знаменитий Гаррик—теж був заїка!.. а славетний Ціцерон, з камінцями в роті, засмалював, мій голубе, такі промови, що слухачів вогнем і холодом від них що разу пронімало!—не соромлячись ні крихти, на всі заставки брехав і перебріхував Іван Мартинович. Все це, знов кажу вам, дурниця, а головна річ от в чім: в яким стані знаходяться у вас фінанси?—раптом змінив він свою розмову, присовуючись ближче до гостя.

— Я як це, Ів-ів-ван Мартинович?—не розшолопав зразу гість.

— А так, мій голубе! Я вас питаю: чи єсть у вас гроші? І як що єсть-то скільки?

Вияснилось, що у будущего артисти було карбованців з тридцять нажитого копиталу. Такої суми було, як зацев-

няв об цьому Іван Мартинович, цілком доволі для початку артистичної кар'єри „пана“ Пташки, а від того, у слід за виясненням матеріального питання, на ломберному столі появилася пляшка „монопольки“, варена ковбаса і цілий ситний хліб.

В продовж всієї години, поки в пляшці не зосталось ні одної краплі горілки, Куварда детально викінчив увесь план „діла“. Головна річ була в тім, щоб „пан“ Пташка постарався днів за три-чотири виучить на пам'ять три, вибрані Кувардою, вірші для дівертисмента,—це вперше; а вдруге—дав би йому, Івану Мартиновичу, „поки“ карбованців п'ять грошей на деякі неминучі втрати з початку діла і втретє—щоб добув підводу, котра б довезла їх до заводського села Теплинки, верстов за сорок од города.

— А там ми, голубе мій сивий, упорядкуем з вами такий гастрольний літературно-вокальний вечір, що заводська публичність цілий місяць після того буде облизуватися від потіхи! Це буде, так сказати, перший ваш дебют, пане Птах-Пташинський!

— П-п-пташка-с...—несміливо поправив його будущий артиста.

— Нну!... Який там у біса Пташка? Для сцени, голубе мій сивий, перш над усе повинно мати найгучніше прозвище, от що! Я певен в тім, що ви блескуче справите перший свій дебют пане Птах-Пташинський; а далі,—беру собі смілість запевнить вас,—все піде, як по писаному!—заносячись скінчив свого проекта Іван Мартинович.

На цьому будучі гастрольори, разом з „монополькою“, скінчили свою розмову.

Через тиждень після цього по всіх заборах заводського містечка Теплинки красувались різноколірні афиши, оголошуючи про те, що у „П'ятницю, такого то числа місяця і года, з дозволу місцевого уряду в салі клуба „любимцем

всіх столичних театрів“ І. М. Кувардою, з учасництвом „відомого всім декламатора“ Н. П. Птах-Пташинського, має бути „повний різномайтности“ літературно-вокальний вечір“.

Різноколірні афиші, як і слід було сподіватись, зробили чи малу сенсацію в містечку. В заводських конторах, крамницях, а надто в трахтирі „Таханьрох“, де стали прийїхавші артисти,—тільки й балачки було, що про „літературно-вокальний вечір“.

Навколо розклеєних афиш раз-по-раз зупинялась цікава публичність. Архиліберальний псаломщик Степан Трохимович Комашка, звісний на всю округу тим, що, на перекір наказу архирея, носив глажені комірці, штани „на випуск“, а також і оригінальне прозвище „Соцілочка“,—прочитуючи зверху до низу, попадавши йому на очі, афиші і бажаючи, мабуть, ще ясніше відтінити прозвища представлених в них „знаменитостів“, підкреслював кожне з них оливцем.

Коротко кажучи, все це, взяте купою, віщувало „повнісіньку кешеню“, по власному термину Куварди.

Дякуючи старанням Івана Мартиновича, малюсенька сальця мійського клуба, з пів дня ще, цілком перемінилась. Почать з того, що вона була надвое перегороджена добутих десь то „на прокат“ барвистим параваном, одну половину котрого він встановив з правію, а другу—з лівої, стіни. Порожнє місце проміж ними повинно було служити за сцену, а закриті боки—були як за лаштунки, так і за вбіральні.

Тільки що почало смеркаться, як зверху над сценою, ради торжества запалала „во вся тяжкая“, спущена з під стелі, більш схожа на викорчований пеньок, старенька жирандоля, освічуючи поставлений в глибу сцени, власноручно намальований Іваном Мартиновичем на кардоні куц, котрий здалеку на вдивовижу скидався на морського спрута. Не задовго до вечера, зібрана на швидку оркестра, — котра, до речі будь сказано, складалась з першої скрипки, флейти і, „на живіт“, ривішого тромбона,—під супровід

турецького барабана, — „шкварила Гейшу“, по власному виразу заправлявшого нею капельмайстра „ундер-цера“ Волевахи.

Скоро почала збираться потроху і публичність, зпершу звичайно на одгороженій двома дошками „гальорці“, а далі й на містах з'явився засмальцьований клубний швайцар, він же разом з тим і білетарь, з довгим прутом, на кінці котрого горіла воскова свічка і почав засвічувати другу, почоплену по серед салі, жирандолю.

Все віщувало вже про те, що незабаром почнеться представлення.

Перед виходом на сцену обидва гастрольори порішили „підкрепитися“ трохи—Птах-Пташинський, як дебютант, для смілісти, а Іван Мартинович—просто „ради більшого куражу“. Пляшка підкрепительної „монопольки“ вчинила, від чогось то, на обох їх зовсім різний вплив: у Івана Мартиновича аж через вінця лився той кураж; що ж до дебютанта, то він замість смілісти, якось то разом отетерів і більш скидався на мокру курицю, а ніж на „відомого всім декламатора“. Запримітивши це, Іван Мартинович, бажаючи розворушить товариша, замість усякої поради й заохоти, приложив до нього спосіб, більш чи менше радикальний: схопивши будущего артисту за баки, струхнувши його при цьому хорошенько, він категорично заявив, що не дай тільки Боже Птах-Пташинський „сяде в калошу“*) і через це вийде „провал“,—то він, Іван Мартинович Куварда, повинен буде, одкинувши всякі царимонії, тут же за лаштунками одлупить його на всі боки!

Такий спосіб заохочування вплинув на несміливого по самій своїй натурі дебютанта просто таки гнітуче і від того привів обох їх до цілком несподіваного результата: замість сподіваємих овацій, вечер, з самого свого початку, скінчивсь для гастрольорів величезним бешкетом.

*) Сісти в калошу—зопсувать свій номер. Актор. термін.

Річ у тім, що все убрання артистів складалось з чорної „пари“ (сертук, камзелька і штани—власність „пана“ Пташки) і з зозулястого, місцями подертого, піджака й штанів, котрі були на Куварді і годилися хіба тільки для того, щоб проспівати в них на сцені такі нумера, як „графинчик-голубчик“, або „тере-фере куку“ і вже у всякім разі ні один „тутній артиста“, як казав Іван Мартинович, не став би читати в них „серьйозной вещи“.

Уважаючи на такий нестаток в убранні і не маючи в занятій під сцену половині салі ні одних дверей для того, щоб мати з'язки між лаштунками—було постановлено: входить на сцену і виходить з неї—в одні і тіж ліві лаштунки.

— Добре мені пам'ятай про це!—ще раз замітив „пану“ Пташці Куварда, даючи третій звонок,—а то як забудеш, та підеш праворуч за лаштунки,—то мені вже не можна буде переодягтись у твого сертука, щоб вийти в нім прочитати „Байду“.

— Д-д-добре... не з-з-забуду,—тремтючи як лист ледве промовив „відомий всім декламатор“.

Як що не мати на увазі спідньої сорочки, то можна сказати, що Іван Мартинович був зовсім роздягнений, через те що його власні штани й піджак, налагожені для комичних куплетів, були всі чисто випатрувані в глину, де не-де обшиті старим подертим шматтям і висіли на поготові у праворуч за лаштунками, звідкіль він напоследок, переодягнувшись в них, повинен був вийти проспівати „графинчика“ і „тере-фере-куку“.

— Глядиж мені сміліше, не лякайся і пам'ятай що я тобі сказав... а инше-бачиш о!... і Іван Мартинович біля самісінького носа Пташки зробив кулаком такий виразний рух, що той інстинктивно відхилившись, ледве не завалив усі лаштунки, діставши потилицею по перекладині.

— Ну... з Богом!—скінчив він свої нотації, випихаючи цілком переляканого товариша на сцену.

— Чер-р-нець...

„У Ки-ки-єві на П-п-подолі

Б-б-було ко-колись, а кі ко-ко-ко... як курка закоко-кав „відомий всім“. раптом опинившись на сцені „декламатор“. Побачивши встромлені на себе очі зібравшихся у салі глядачів, сердешний дебютант в кінець змішався і пав серцем! Почервонівше, обливаючись весь чисто потом,— він все більше й більше заїкався і на сам кінець замість вірша, почав виголошувати якісь то, нікому нерозумілі, оклики... В салі де-не-де почувся ледве здержуємий сміх. Іван Мартинович, бачучи що його collega „сідав калощу“, забув про своє peshabillè і, виткувшись на половину зза лаштунків, заскреготав зубами і крикнув на нього так, що чуть було аж на „гальорку“:

— Геть з кону підчихвіст!... Тікай мерщій поганець!!..

„Декламатор“, глянувши на люте обличчя Куварди, вмент згадав про обіцянку „одлупить його на всі боки за провал“. Примушений пвчуттям самоохорони, він нечайно дав з сцени дропака, тільки не вліво, як була умова, а вправо за лаштунки, подалі від розлютованого свого вчителя. Дякуючи цьому, паскудна обстановка ще гірш заплуталась: Іван Мартинович був припертий в тісний кут. Сціпивши зуби, з очами виступившими з своїх орбит, раз-по-раз тупаючи ногами, він робив в напрямі шмигнувшого в противулежні лаштунки Птах-Пташинського самі шаленні рухи, бажаючи цим самим дати йому в тямки, що йому неминуче потрібна чорна „пара“, що була на „декламаторі“.

— Паскуда!... Анахтема!!..— лютував він, показуючи йому то один, то обидва разом кулаки.—Що ти наробив суцїга?!... Адже ж мені неминуче треба твій сертук, бодай тебе ковтнув чортяка, треклятий крамарь!.. А до того ж ще й моя властна одїж на тім боці, щоб ти був маленьким луснув!!..

Сердешний Пташка, не зважаючи ні на що більше опріч того, що Куварді притьмом потребне його вбрання—вмент зірвав його з себе, згорнув жужмом і розмахнувшись шпур-

нув ним вверх через сцену в напрямі до Івана Мартиновича, котрий в безсилій лютости, почав був уже рвать на собі волосся...

Але тут трапилось щось зовсім несподіване!

Сертук перелетів щасливо, камзелька не долетіла і гепнулась як раз по серед сцени; що ж до штанів, то вони розвернувшись вверху, як крила хижого шуліки, зачепились і повисли на, спускавшійся як раз по серед сцени, жирандолі... В докінчення всього, підпалені горівшими у ній свічками, — вони зробили всім, помимо програми, несповівану сюрпризу: в салі спалахнув оригінальний фейверк!

Розляглася ціла буря оплесків, супровождаєма гомеричним регітом...

Приспівший швайцар, загасивши цю дивовижну люмінацію, з'єднав до купи обидві половини паравана і тим самим закрив від глядачів, вчинившийся проміж Кувардою й Птах-Пташинським фінал упорядкованого ними „літературно-вокального“ вечера.



В вагоні.

Товаро-пасажи́рний поїзд повагом, з великими потугами, важко зітхаччи і брязкаючи вагонними ланцюгами,—ледве-ледве наближавсь до станції. Було вже близько півночі. З приходом поїзда сонна станція вмент прокинулася. В вагони доносились з перону крик, гам і гуркотнеча... Часами, немов би вириваючись з цього гарמידера, почувалася команда і прикази тих, що мали на це право,—стрільникам робочим, сторожам і иншій „дрібноті“. З пляцику третекласного вагона, в напіввідчинені його двері найбільш доноситься розпочата кимсь то сварка.

— Ну, пролазь мерщій, чи що!.. Ач навантаживсь і в вагон не пролізе!

— А ти, голубчику, не хапайсь... поспієш!

— Егеж, поспієш!.. Чекають на тебе будем аж поки ти лантухи свої проволочеш... Пролазь, кажу тобі, а то так і суну!

— Легше, легше!.. Ти не дуже, брат, совай, а то коли бува не надірвався!

— Ну-ну, базікай ще... Анциболот!

— Та чогож ти лаєшся, бодай твого чорт батько на льоду гопки вдарив, га?! От ще „жандар“ який з'явивсь!

— Та як же тебе не лаять, ррростуди й перрретуди, коли ти дорогу загородив!—немов картечю сипонув в одповідь йому верескливий баритон.—Господи, прости Ти мое согрішення з цим анахтимським народом!—додав він, начеб то перепрошуючись.—Застряв тут з своїми лантухами, —а ти от стій та дожидайся!

— А ти б, замість того щоб матюкати,—взяв би та могли допрохнути мішки!

Двері вагона розчинились і в них ледве проліз нав'ючений двома величезними мішками, в сірій свитині поверх кожуха, в шкапових чоботях і потертім капелюсі,—мужичок.

Слідком за ним, засапавшись, держучи наперед себе дорожній чамайдан, ввалилася в вагон, затушкована в башлик і підперезана барвистим поясом, гладка „чумарка“.

— Фу-у-у... Ледве протися!—так собі, не звертаючись ні до кого проговорила „чумарка“, розмотуючи свій башлик і спокійнісінько усажуючись на ноги лежавшого на лаві пасажира.

— Слушайте, ви!.. Чи не можна б поделікатніш!—незадоволеним тоном обернувся до неї, підіймаючись, потривожений пасажир.—Ви мені ноги притисли!

— А ти їх підбійрай... Ач витягся як? наче в себе в кабінеті,—спокійно промовила „чумарка“, скидаючи свій пояс.

Мужичок, поставивши мішки в проході проміж лавками, несміливо озирався на всі боки, шукаючи підхожого куточка куди б можна було поставити свої непокладні пакунки.

— Ей ти, сиволдай!.. Ховай багаж свій!—пригримнув на нього, йдучи через вагон, кондуктарь.—Чи бач понакидав? Наче посеред свого двору... Ховай мерщій!

— Та куди ж його сховати, паночку? Хиба під лаву?

— Ну ховай під лаву, тільки швидче, а то й пройти за ним не можна!—і кондуктарь сховавсь у двері.

— Ех Ти Господи Боже мій!... От так штука... га?... Ну що ти з ними поробиш? Ніяк ти їх не підсунеш... от кара Господева!..—в голос міркував сам з собою мужичок, підсовуючи під лавку свої мішки.

Трохи згодом почувсь обер-кондуктарський свистик. Хрипло проревівший на відповідь йому паровик, зробив потугу, смикнув раз... другий... і ледве-ледве потягнув, вистоявший визначений час, поїзд до другої станції.

Упоравшись, на сам кінець, з мішками й примостившись у куточку, мужичок перехрестився і зітхаючи почав витирати капелюхом мокрий лоб.

„Чумарка“, усівшись поруч з потривоженим нею пасажиром, розташувалась немов би в себе дома. Одімкнувши свій дорожній чамайдан і діставши звідти „все що слід“, починаючи з „монопольки“ і кінчаючи рибною і іншою закускою,—вона запросила до кумпанії свого випадкового сусіда. Сусід, дуже скидавшийся на приказчика „з чистеньких“, не відпуравсь того.

За чаркою, повставша проміж ними на перших порах, неприємність цілком зникла. Випадкові сусіди, розпитавшись, попереду: хто, звідкіль, куди і по якому ділу їде,—завели проміж себе гарячу розмову, котра, на сам кінець, приняла чисто спеціальний напрям і весь остатній час провадилась уже на тему „о державних скарбових справах“.

— От тепер, припустім, будем так говорить,—обернулася „чумарка“ до свого сусіда, витираючи картатою хусткою свій мокрий лоб,—засідають там міністри у всяких департаментах і комітетах, видають всякі закони, розпорядження і інші штуки... А найголовнішого, то б то сказати „суті“—не бачуть!

— Це якої ж такої „суті“?—не добира рахуби сусід.

— Самого того, що найкористнійше для народа. Будем, примірно, вести нашу розмову таким маніром: що найперш всього потрібно мені, тобі, йому,—показує „чумарка“ на мужика,—і п'ятому—десятому з нас?

Мужичок зітхнув і присунувсь ближче до розмовників.

— Найперш всього нам треба грошей, о!... От ти й заведи, не то що на кожний город, а на кожне село по „сбанку“ і прикажи їм видавати нам „фінансів“ кожному „по состоянню“!—проваде далі „чумарка“, тикаючи пальцем в коліно свого сусіда.

— Ну-у... це, знаєте, не можливо,—не згоджується той, запалюючи цигарку.

— А чого ж це так, що неможливо, дозвольте запитати вас?

— А так... найперше через те, що ці самі „финанси“ це б то гроші, сказати би єсть сам по собі капітал, а не полова, що б сипати ним кожному скільки хто захоче.

— Та хто ж каже „скільки захоче“? Я кажу „по состо-я-ні-ю!..“

— А так... будем розмовлять таким маніром: я веду, примірно, свою лінію по підрядах... рядчик значить! От „сбанк“ і бери на увагу: скільки по моїй комерції потріб-но мені цього самого „фінансового“ капіталу? Припустім тисяч десять! От ти так і оприділяй: бери, значить, Омеляні Кривошапченко десять тисяч карбованців і вдовольняйся... і більш уже не смій і хтїти! А от йому, примірно,—ткну-ла „чумарка“ на мужичка,—треба для власного обіходу яку небудь сотнягу,—бери і теж задовольняйся!

— Е, хоч би „четвертний білет“, голубчику, і то от би як дірки свої я полатав!—згоджується на менше, погла-жуючи борідку, мужичок.

— Стривайте, —зупиня сусід „чумарку“,—на підставі чого ж це ви маєте такий погляд? Як же це так—розда-вати гроші? Адже ж вони цінність то яку небудь мають? За коповика ж—карбованця не купиш?

— Та хто ж каже роздавать? У позику давать!

— Ну, а як ті що візьмуть, та не повернуть назад тієї позики—тоді що?

— Ач куди, брат, стрельнув! Ти міркуй по своєму, а не так як другі кажуть!—зробивши в себе перед носом якийсь то невиразний рух, промовила з усмішкою „чумар-ка“.—А хоч би й не повернули, то мала печаль у тім.

— Як то так?

— А так. Ти візьми, примірно, бомажний руб,—скіль-ки він варт?

— Та руб—же й варт.

— Знов не те... Я вас питаю: „по своїй суті“—чого він варт?

— Як це?

— Та так! Папір, це б то бомага з якої він зроблений—що вона коштує?... Нічогісінько!

— Ну?—все таки не добра рахуби розмовник, пускаючи каблучками димок.

— От вам і ну!.. От ти й віддай такий наказ, щоб наробить для „сбанків“ скільки слід цих самих бомажних „фінансів“, щоб вдовольнити кожного по його „состоянню“.

— Ну ні, добродію, ця музика до танців не підхожа! Але ж кожний такий бомажний карбованець, це... це, скажуть би, той же капітал і я гадаю так, що при потребі його повинні змінити на золото, чи там на срібло,—змагавсь сусід.

— Та на бісового батька мені його мінять, коли я можу всю свою комерцію вести на бомажні гроші!—розсудно одмовила на це „чумарка“ Ти тільки дай мені, цих самих „фінансів“ потрібну кількість, щоб було значить „в окурат по состоянню“, а там уже не твоя печаль!.. Воно бач примірно сказати би й так, що як і через край передати, —то теж на кепське вийде!

— Ні, голубчику, нічого... Воно хоч трохи й лишку дасть,—то не перешкодить,—несміливо виказав свою думку, —під впливом розмови почавши ласитись на гроші,—мужичок.

— Егеж, не перешкоде!... Одсип тільки тобі тисячу, або дві карбованців,—так ти, чого доброго, з своїми лантухами в першій класі будеш їздити... Знаєм ми вашого брата!—строго одрізала „чумарка“ так як наче вся роздача цілком залежалм від неї.

— Та я щож... це ти правду кажеш, голубчику... Бо, примірно будучи сказати, ця сама жадоба,—от як нашого брата розпирає,—смутно згодивсь, витираючи капелюхом свого лоба, мужичок.

— Ну от ти типер і розміркуй: ретельно я кажу, чи ні?—знов обернулася „чумарка“ до свого сусіда.

— По моему ретельності в вашім погляді на це—от не на стілецько нема!—показуючи пів мизинця, одмовив той.

— А ну лиш, ну... укажіть мені в чім же я тут помиляюсь?

— Та от будем говорити таким маніром... я в цій справі так думаю, що ця сама „бомажка“, карбованець, трояка, чи п'ятуха,—єсть не більш не менш, як той же самий вексель, по котрому рано чи пізно,—а треба буде зробити оплату...

— Стривай, стривай!.. А чий же це буде вексель?

— Як чий? Ну... каззонний, царський... або там „государственного казначейства“, чи що...—плутаючись поясняв розмовник свою теорію „чумарці“. Адже ж так там і на „бомажці“ написано, що-о...

— Ну-у... Це брат, ви зовсім якусь то нісенітницю провадите! По вашому виходить що я, або, примірно, ви—з царя будем править по цьому векселю? га?... Та й на бісового батька, знов кажу вам, буду я править, коли й на цей самий „бомажний“ руб я можу вільно свою комерцію вести! Так хто ж, питаю, буде править?.. га? Ні, брат, я бачу то ви нічогосінько не тямите в „фінансах“!

— Ну ні, вибачайте... От ви, так цілком помиляєтесь в своїх поглядах на діло! Я вам знов кажу, що ретельністи у всій вашій розмові,—от ні на стілецьки не видно! ще менш чим пів мизинця показав ображений сусід.

— Та що ви все одно торочите: не на стілецьки, та не на стілецьки! А ви от докажіть мені про все це як слід, „резонтом“!

— Добре... Я вам всю цю справу по параграфах, як кажуть, розпишу!

— А ну, ну?

— Найперш всього будем вести нашу розмову на „хвактах“. Припустім, що яка небудь загранишна держава,—по злобі там, чи по иншому якому политичному поводу,—візьми тай скупи огромну кількість цих самих наших бомажних грошей...

— Ну-ну!—лукаво погана „чумарка“.

— А потім улучила таку годину, та й каже: а ну лиш покійно просимо до виплату на золото, чи там на срібло... Цеб то, візьміть, будь ласка, свої „бомажки“, а нам дозвольте копиталець за них получить!

— Це якаж така держава? га?..

— Якаб там не була. Припустім хоч Германія, або Англія... Що ви їй можете сказати на це?—з неменчим лудкавством запитав сусід „чумарку“.

— Та теж саме й скажем.

— Та щож скажем, коли вона праве, на горло наступа!

— А ну-ну... сунсь тільки править!—бурчить „чумарка“, потираючи долоні.

— Та й буде править! Ну що ви їй скажете на це?—припираючи „чумарку“ в тісний кут, злорадствує сусід.— Я вас знов питаю: що ви скажете їй на це?!

— Що?.. А в мордяку ти не хочеш, босурманська твоя образина!.. от що ми скажем їй на це!—підіймаючи до гори обіймистий кулак, з певністю одмовила „чумарка“.

..... Скарбове питання було роз'язане як слід: коротко, ясно,—а найголовніш всього,—цілком розумно.....

— Панове, ваші білети! Налагодьте білети!..—кричав, йдучи поперед, оберкондуктора—його помішник. Порівнявшись з мужичком він мимоходом, кивнув йому на двері, зробивши при цьому якийсь то, ледве примітний, знак. Скоряючись цьому знаку, мужичок зараз же вийшов на вагонний пляцик. У слід за ним, перевіривши білети, вийшли обидва кондуктарі. Трохи згодом мужичок вернувся. На його обличчі можна було запримітити, що він дуже чимсь то зворушений.

— Ох-ох-ох!.. Горенько, тай тільки... От би кого затопить у мордяку!.. Казав, суцїга, одно,—а тепер зовсім друге... Мало що не теж саме стало, що й білет коштує... Теж кондуктарь зветься, а гірш, прости Господи, усякого

ракла! Ех, гріхи наші тай тільки!..—бурчав він собі під носа, загортаючи поли кожуха.

„Чумарка“ і її випадковий товариш, роз'язавши скарбове питання і „розділивши, як слід, кумпанію“—лагодились до снання.



Американці.

Була велика павза. В рекреаційній салі N-кої гімназії стояв такий гармидер, що хоч святих,—як кажуть,—з хати геть винось! Шум, галас, стук, співання й регіт—все змішалось до купи і виявляло з себе якийсь то невиразний хаос.

Високий і худий, як та герлига, восьмикласник Миропольський, по прозвищу „гусак“, стоячи в кутку з поземно витягнутими руками,—удавав із себе „Демона“ над сплячою „Тамарою“. Зморщивши лоб і насупивши брови, він з якоюсь то надзвичайною лютістю на обличчі у десяте починав все одне і теж: не плачь дітя, не плачь напрасно!“

Недалечко од нього за столом, з стоявшим на ньому фільтром, примостилась компанія „випускних“, на скору руку перекидаючи у карти.

П'ятикласник Іноземцев, оточений цікавими, показував свій недавній вигад, котрим завжди можна було одурить ненависного „грека“, учителя „проклятої“ мови Готлімбаха. Проміж усім иншим було показано шановним collega'м мало що не тридцять найтрудніших глаголів, котрі він якось то умудрився умістити на нігтях своїх рук.

— З цим фокусом ніколи вже не піймає... чорта пухлого! Вмент лизнув великий палець, провів ним по всіх нігтях і фю-і-іть!.. і сліду не зосталось!—додав він хвастливо, ущипнувши за щоку роззявившого рота „приготовишку“!

„Ante, apud, ad, adversus,
Circum circa, citra, cis“...

Зубрив „куртьопка“ Поливанов, вибиваючи ногою такту і витираючи рукавом упрівший від старання лоб. Прокляту-

ща пам'ять, навдивовижу добре присвоювала всю хитру термінологію голуб'ячого спорту, „гилки“, „ладижок“ і всього иншого,—ніякне могла присвоїти назвиська прийменників навіть у віршованій формі і примушувала його раз-по-раз заглядати в заложену пальцем книжку.

Мамчин синок, мазунчик Чикаленко, примостившись на підвіконнику, смачно, за обидві щоки, наминає ковбасу.

— Слухай сюди, Чикаленко,—одріж лиш і мені шматочок!—підійшов до нього сябро його по парті „плебей“ Іванов.

Чикаленко мовчить, мов би не чує, як наче не до нього й річ.

Що ж ти оглух, чи що?—пристає до нього Іванов; в очах його при цьому видно вже вагання: чи ще раз попросить, чи краще прямо таки вирвать з рук Чикаленка недоїдок ковбаси? Постоявши яку хвилину, він плюнув і ткнувши під самий ніс Чикаленка кулак не проговорив, а якось то наче просичав від злости:

— Ну, бидло чортове... Спробуй ти тільки після цього переписать у мене extemporale?!—і, хутко повернувшись, хотів було вже одійти подалі від спокуси.

— Та подожди! Чого ж ти, дурню, лаєшся?—зупинив його Чикаленко. —На, коли хочеш!—Спомин про ахtemporale примусив його на щедрість: тяжко зітхнувши, він подав товаришу недоїдений шматочок ковбаси і половину „плюшки“.

„І будеш ти цар-р-ріцей мі-і-р-р-ра а-а“!.. Не співав, а репетував вже, підвівши в гору руки, Миропольський.

— Та перестань ти, Бога ради, „драть козла!“—пригримнув на нього, програвшийся у карти, його товариш Підневолин.—Який дивний, подумаеш, у чоловіка хист до профанації всього, що єсть найкращого в серйозній музиці!

— Ну... Нате й наших п'ять, щоб було десять. Твж обізвавсь музичний чоловік!—образивсь, перерваний на самім цікавім місці, Миропольський.—Хто-хто б уже казав

за профанацію,—але тільки не ти! Адже ж ти сам ні бісового батька у музиці не тямш, а туди ж? Про-фа-на-ція!..

— Еге ж... А от у тебе, так що й казати: чудовий тям у ній! У тебе що „задумал Теренька женіться“, що „Не плач дитя“,—все на один голос виходе!

— Ну, ні, Підневолин, ти з погляду цього дуже помиляєшся,—встряв Андрієнко.—Цей идол,—указав він на Миропольського,—ніяк не второпав того, до чого його призначила судьба: за ним імператорська опера давно вже, плаче, а він на медичинський виділ себе лагодить!

— Ну, ти Андрієнко, теж ідеши супроти судьби: вона призначила тебе на телеграфний стовп, а ти притьмом в юристи прешся!—одмовив на це, присажуючись до слолу, Миропольський.

Зайшов було в салю інспектор, але, оглушений гармидером,—знов вийшов в корідор.

На одному з підвіконників, виходившого в сусідський сад, вікна примостились два товариші Петров і Литвиненко й провадили проміж себе тиху, але гарячу розмову.

Ти впорядкував свої копитали?—обернувсь худорлявий, смуглий чорнявець Литвиненко, до повного, як пампушка, рудого, веснянкуватого товариша Петрова.

— Еге ж.

— Скільки ж у тебе всього-на-всього набралось?

— Та поки 4 руб. 60 коп., але я думаю продать ще свій годинник. На біса він нам здався?

— Ну-у... без годинника, це, брат, тее... якось то не доладно...

— Ще що скажи! Що ми на уроки будемо ходити по ньому, чи що?

— Та це то так,—трохи подумавши, згодивсь Литвиненко.—В наших блуканнях нам будуть до послуги небесні годинники: сонце, місяць, зірки...

— Ото то бо й е! А залишні, братухо, гроші на дорогу—ніколи не пошкодять. А в тебе скільки всього буде?—з свого боку запитав Петров.

— Та бачиш, от сніданків у мене осталось 2 руб. 15 коп., та голубів своїх я продав Федорчуку за 3 руб. 50 коп., та на менини мені подарували 2 руб. 40 коп.— от ти й лічи... Стривай! А ще ж мені Іваницький винен 35 коп.

— Ну, я так покладаю, що на перших порах нам як небудь хопе!—з певністю замітив Петров.—Адже ж нам треба тільки добратися як небудь до моря, а там уже як уступим юнгами на пароплав, то ніяких коштів не треба буде: юнги дістають все за дарма, од їжі й до одежі.

— Приходь лиш сьогодні вечером до мене, я тобі покажу, як я причепурих, брат, свій „карабин“!—перевів розмову на друге Литвиненко.—Дуло-порошком позолотив; хотів був і приклад весь мідяними гвіздочками уквітчать— та роздумав.

— Чого ж це так?—спитав Петров.

— Та бачиш чого: я думаю мідяні гвіздочки прихватить з собою на той випадок, що як тільки прийдеться убити якого небудь Команча, чи Апача,—то зараз же й заб'ю гвоздику в приклад, щоб завжди був виден щот убитим,—пояснив кровожадний Литвиненко.—Пам'ятаеш як у Густава Эмара один з траперів виробляв?

— Гм... Це, брат, ти добре пригадав!—ухвалив вигадку товариша Петров.—А я, брат, вчора ледве-ледве не зламав свого кинжала.

— Туди к бісу!.. Як то?

— А так... У нього, бачиш, зігнулась ручка—я й хотів її випрямити. Заложив ото його проміж комірних дверей у щілку, а вітер зразу як подме—двері й зачинись... Насилу, брат, встиг вихопить його звідтіля!

— Ну, ти теж пригадав... Хіба ж можно так з оружжам обходитися?

— Біс же його батька знав, що так зкоїться.

— Слухай суди,—обернувся трохи згодом Петров до товариша.—Ми от з тобою балакаєм-балакаєм, а й досі ще не рішили: на який бік Америки ми висадемося?

— Як це так?—не розшолопав зразу Литвиненко.

— А так: чи од Великого океану, щоб прямо через Каліфорнію чкурнуть в Скелисті гори,—чи од Атлантичеського, в Ньюорці, щоб добратись до них через прерії?

— Гм... Я, я брат, так міркую що од Атлантичеського,—трохи подумавши, виказав свою думку Литвиненко. Річ, братухо, в тім, що нам найперш всього неминуче познайомитись з преріями і зав'язати зносина...

— Задзеленчавший дзвінок, оголосивши кінець павзи, примусив як Американців, так і всю галасувавшу зграю ліниво розійтись по класах.

Увійшовши у свій клас, Американці помістились на самій задній парті, в глибу „камчатки“. Надумавши тікати в Америку, Петров і Литвиненко приписались „в камчадали“, цеб то в „безнадійні“ з погляду переходу у вищий клас. Позакидавши к бісу всі свої вчебники, вони, щоб раз на завжди збавить себе од уїдливого приставання учителів—перемістились в самий далекий, недосягаемый для спостереження педагогів, куток класа, носивший, по термінології гімназистів, назвисько „камчатки“. Ніким не тривожимі вони по волі розвивали в продовж уроків свій план утечі в привольні прерії і грізні гори благословенної Америки.

Чи дознається було чому рівняється вередливий „х“ в задачі, чи виступа на сцену невгомний Окаянний Ярополь, озброєний хронологією, або Корнелій Непот з своїми асістентами: *accusativus cum infinitivo* і *tblativus absolutus*,—а розмова, думки й вчинки „камчадалів“ направлені зовсім на друге. Одні з них прилажують вудочки і шліхтують пошлавці, другі розбирають вдачу голубів, починаючи з „льотних“ і „курсаків“ і кінчаючи „трубецькими“, треті, втикавши парту обламаними кінчиками пір, під шумок, стиха награють супровід виясненням учителів. Що до Петрова й Литвиненка, то вони цілком були зацікавлені одним: як би скоріш чкурнути до Америки.

Через хвилину в клас увійшов учитель арихметики, високий і худий чорнявець з підстриженою бородою і з жов-

тим, мов та цитрина, обличчям. Викликавши одного з учеників, він почав поясняти перед усім класом деякі алгебраїчеські премудрости, приказуючи йому виводить все те про що він каже—прикладом. Все йшло як слід:—учитель поспяв і запитував, ученики слухали й відповідали.

„Камчатка“, по звичаю, не брала ніякої участі в тім, про що йшла річ. Все більш і більш уносячись своїми власними ділами, вона, на сам кінець дійшла до того, що не звертаючи уже ніякої уваги на те, що в класі йшов урок—розійшлася „во вся тяжкая“!

Литвиненко, пояснюючи Петрову як найзручніш усього здіймати „скальп“ з убитого ворога, занісся до того, що зовсім забув про те, що він не в прерії, а в класі. Припустивши, що Петров „Гурон“, а сам він Литвиненко бич усіх міднокожих по прозвищу „Кривавая Рука“,—він, обнявши товариша за шию, і пригнувши голову його до себе на коліна, підняв уже над ним свій циркуль замість „скальповного“ ножа. В цей самий мент викрикнуті вчителем фамилії примусили „Криваву Руку“ і „Гурона“ вмент перенестись з далеких прерій Півночної Америки в четвертий клас гімназії, в „камчатку“.

— Литвиненко!.. Петров!.. Що то ви за борюкання завели там?!

Литвиненко і Петров пінялися з місця.

— А скажіть мені, Литвиненко, об чім я зараз говорив?—Литвиненко похнюпившись мовчав.

— Ну, а ви „господин„ Петров?—„Господин“ Петров, окинувши очима пописану цифрами класну дошку, по своєму звичаю не заморочуватись ні в яким питанні,—бойко заніс якусь то нісенітницю.

— Стривайте, стривайте! Що ви казна що провадите? А йдіть лишень сюди!

Петров пішов, а Литвиненко, подумавши, що „гірка чаша“ його минула,—спокійно знов опустивсь на своє місце.

22.09.1939.
 пошитока

проба грати на фортеп.
 22.09.1939.

На занехаяній ниві.

„Хоч не доїжно, так зате доїжно!“

Українська приказка.

Весняний дощ не перестаючи йшов уже треті сутки. На пішоходах стояли калюжі, а по боках улиць, по рівчаках, швидко бігли бурчаки. Не вважаючи на південну пору, вулиця мало що не безлюдна. Пробігла дівчинка-моднярка під зонтиком, ховаючи як дитину старано завинену замову; спокійно, не хапаючись, у кожухах на виворіт, пройшло двоє селян, сміло розгрібаючи калюжі шкаповими чобітьми і уплітаючи за обидві щоки порозкисані калачі; прогуркотів, розприскуючи калюжі, розвинчений до нікуди фірманський віз, з скорченим фірманом на передку—і знов на вулиці ні душі. Навіть поліціант, не дивлячись на свою цератову накидку, забравсь під дашок гостинного дому.

За вугла перевулка показалися на вулиці два чоловіки. Йдучи поруч вони старались яко мога щільніше пригнутись один до одного для того, щоб захистити себе одним зонтиком від дощу.

— Ні... хай його чортяка вхопить! Годі, баста!.. Мені вже все це остобісіло!—лютував один з них, Іван Никифорович Більський, комік української трупи, держачи над головою старий, дірчавий зонтик з визначеними на ньому, як ребра у худой шкапи, дротизами. Його ноги, узуті в старенькі, давно вже „просивші каші“ черевики, трохи зачеплялись на ходу, але за те сміло, не розбираючи шльопали по самісіньких калюжах, обризкуючи грязюкою як власні шаравари, так і шаравари товариша, що йшов поруч з ним в сірій, на опашки, чумарці.

— Ти тільки візьми собі на увагу от що,—зупинившись на місці обернувся він до свого товариша.—Адже ж він як дав мені 22 карбованці авансу, ще в Харькові, так з тих пір я вже ніразу не брав у нього по карбованцю... все відкараскується,—чортяка б плюнув йому в пикку,—копійками!.. Цеж прями́сінський таки ракло!—При цьому Більський так енергійно махнув зонтиком, що струя води з нього попала прямо за комір чумарки його товариша, пана Любарченка, другого аманта тієї ж трупи.

— Та ну бо не верти так своїм зонтиком! Мало того, що всі штани грязюкою обризкав, та ще й зверху обливаєш!

— Нічого, не розкиснеш... Подумаєш, який хвертик!—ображено промовив Більський і, сердито сплюнувши, попхався далі. Любарченко, насунувши на лоба свій картуз, пішов слідком за ним.

Порівнявшись з ганком готелю „Трансваль“, Більський зупинився і, махнувши зонтиком, крикнув до товариша, що доганяв його:

— Ну бо, плентайся мерщій... лізеш, мов та черепаха!.. Глядиж мені,—додав він йому зтиха,—менш п'ятнадцяти карбованців ані одної копійки!

— Добре, добре... іди вже! Знаєм ми вас: на тебе тільки гримне, то ти й на коповику помиришся!

— Фу-у... який ти, брат, ідіот, як я подивлюсь на тебе! Ти всіх на свою мірку міриш! То ти такий, що пообіцяй тобі режисьор Хохлатий рольку, то ти й п'яти йому будеш цілувать... а Більського, брат, за коповика не купиш! Ти думаєш...

— Та годі тобі, йди вже! Почав тут монологи під дощем читать...—і Любарченко, рішучо звернувши з пішохода, відчинив двері готеля.

— Чого треба? Куди претєся?!—загородив їм дорогу швайцар.

— Ти чого ж це репетуєш так, сатанайдоле!—з свого боку пригримнув на нього Любарченко.

— Ні і ви вже, будь ласка, теж ідіть з ним за компанію!—кивнув йому учитель.

— А щоб тебе грець убив! Дуже я тобі потрібен?..— подумав розбитий у своїй надії Литвиненко, ліниво вилізавши зза парти і ще лінивіш йдучи до кафедри.

— А скажіть мені „господин“ Литвиненко,—обернувся до нього першого учитель,—що ви знаєте за коефіцієнта? Литвиненко, встромивши очі на свої чоботи,—мовчав.

— Ну, що ж ви мовчите? Не знаєте, чи може не бажаєте нічого розказати нам про нього? га?

Литвиненко уперто і безнадійно мовчав.

— Виходе що так таки нічого й не скажете?—іронізував учитель.

— А бодай би ти луснув з своїм коефіцієнтом, уїдлива собака!—подумав Литвиненко.—Адже ж сам добре баче, що не знаю,—так ніт же, пристав мов той реп'ях, анахтема!

— Ну, а ви „господин“ Петров, що цікавого повідаєте нам за коефіцієнта? що воно за звір такий?—покинувши на сам кінець Литвиненка, обернувся вчитель до червоного, як той варений рак, його товариша „Гурона“.

В голові Петрова коефіцієнт справді прийняв образ якогось то невиданного звіра з величезним хвостом і з гострою, устромленною в землю, мордою. Хоч він зовсім не міг дати ніякого поняття об ньому, а про те, по звичаю, знов поніс якусь дурницю.

Учитель іронічно притакував, инколи повторюючи: „чудово“, „досконально“, „дуже добре“!...

На сам кінець фантазія Петрова вичерпалась і він став.

— Ну, скінчили?—запитав його з усмішкою учитель. Петров мовчав.

— От що „господа“,—обернувся він до них серйозно вже,—так як одиницями здається вас не дошкулиш, так я думаю спробувати над вами инший спосіб: ви обидва зостанетесь сьогодні після уроків на дві години в класі, не ївши і розміркуєте про те, що коли ви сами не бажаєте

учиться, то у всякім разі не слід же ставать на перешкоді до того другим. Прошу звернуть на це свою увагу всю високошановну „камчатку“!—„Господин“ Гнатуша! а ну лиш ідіть сюди!—обернувся він на послідок до одного з „камчадалів“.

Вчасно брязнувший дзвоник, збавивши Гнатушу од напасти, разом з тим відняв од шановних Американців третього компаніона в, спіткавший їх, пригоді.

Кара положена вчителем прискорила подію давно вже приготовляему „Кривою Рукою“ і його товаришем „Гуроном“. Під впливом спіткавшої їх пригоді, в продовж двохгодинного арешта, вони в кінець обмірковували план утічки в Америку і на другий день в гімназію вже не з'явилися.

Відбувши кару, Петров того ж дня продав „Сократу“ — Шльомці свій годинник за 5 кар., виторгувавши в придачу до них чотирі штуки мідяних гільз і пару старих олив'яних пультів, маючи замір подарувати їх Литвиненкові. Впорядкувавши головне, він слідом за цим поклопотав і за инше: купив два хунти ковбаси, чотирі булки, коробочку сірників, здоровенну люльку і чвертку тютюну „Бураса“. Цю останню покупку він зробив на той случай, що як би при стрічі з міднокожими діло обійшлося без жадного конфлікта, по приятельські,—то пропонувать їм „люльку згоди“ набиту рідним тютюном.

Смерком вже зовсім, забігши до Литвиненка, він застав його в великій трівозі. Вияснялось це навперше тим, що наведена на дуло карабина позолота—місяцями пооблазила і весь він, через це, по власному виразу Литвиненка, скидавсь „на їх муругу корову Машку“; а вдруге, що найголовнійше, його „мокасина“, цеб то чоботи, були одіслані татком до шевця і volens-nolens приходилося на до рогу узувати старі бутики.

— За те, брат, пороку я мигонув цілу коробку і жмень во три дробу!

— От дробу, так я думаю що обмалкувато буде,—заявив Петров.

— Дорогою прикупим! Річ у тім, що я всі чисто таткові патрони спорожнив,—тільки всього й знайшлось... А шкатулку свою з охотницькими причандалами він замикає,—додав він з жалем.

— Ну, тепер, здається, все справно і ми можемо завтра рушати,—об'явив „Гурон“.

— Конешне!—рішуче додав „Кривавая Рука“. Ти знаєш я думаю, про всяк випадок, захватить з собою вудочки. Забрідем в сторону „великих озер“—прийдеться, брат і рибалкувати часом.

— А звичайне,—згодивсь з ним „Гурон“. Зміна їжі—теж неминуча: стрілецьтво дасть одну тільки м'ясну поживу. А яке, брат, я собі убрання вигадав? Доконче зшию, як настреляємо бобрів!

— А знаєш що, Петров?—звів на друге Литвиненко. Чи не взять би нам з собою машталіра нашого Петра? На мою думку він був би незамінний чоловік для нас.

— Чого ж це так?

— А того, що силища, брат, у нього—прямісінько чортяча! Позавчора він я-а-ак дав п'яному биржанику по потилиці, за те, що той вилаяв куховарку нашу Гапку, так той так дзигую і завертівся! А головна річ у тім, що він не боїться різати не тільки що курей, а навіть і поросят.

— Ну, то що ж з того?—зпитав Петров, не добираючи рахуби: при чім тут кури й поросята?

— Як що? А хто ж нам буде здирати шкури з бобрів, бізонів і иншої убитої дичини?—пояснив „Кривавая Рука“. Ти, чи що?

— Та це то так,—згодивсь „Гурон“.—Тільки чи піде це він з нами?

— А я його запитаю так... як кажуть „на здогад буряків“...—хитро промовив Литвиненко.—Я вже знаю як це зробить... і в ніс йому не вдаре! Згодиться—добре, а

ні—к чортам собачим! Не кландать же, й справді, коло нього?

Поговоривши ще трохи, товариші розійшлися з умовою: вийшовши завтра з дому, як начеб то на уроки, зійтись збок цвинтаря і звідтіль направить „стопи своя“ до цілі, це б то сперш до моря (до якого?—це вже вони повинні були рішити дорогою), а там... Прощай рідна сторонька!... Прямісінько в степи, ліси і пуці найденого Колумбом охотницького eldorado!



На другий день в 8-й годині зранку, товариші чимчикували од цвинтаря по шляху, прямючи до найближчої станції залізниці. Через плече „Кривавої Руки“—Литвиненка висів на рожевій тасьмі полинялий карабін. В одній руці держав він бич, а в другий новесенькі, з білої тасьми, віжки. Захопив він їх з собою на те, щоб зробивши з них лассо,—ловить мустангів. На ремінному пояску „Гурона“ тіліпався величезний старий, подертий весь, кинджал. В одній руці він ніс харчі, а в другій довгий залізний прут, призначення котраго ще як слід не визначилось. Петров захопив його з собою „мимоходом“, по власному його виразу, може таки на шо небудь здасться!

На перших порах, під впливом думки про покинуту рідню,—товариші мовчали, але одійшовши, верстов дві од города, розговорились.

— А знаеш, Литвиненко, я все таки, йдучи з дому, покинув на своїм столі записку.

— Яку?

— В котрій оповіщаю татка, маму, Борьку і всіх...—при цьому на очах лютого „Гурона“ заблищали сльози й він замовк.

— Про що ж ти їх оповіщаш?—якось то непевно зацікавився „Кривавая Рука“.

— Як то про що? Про те щоб вони за нас не турбувались і не шукали, бо ми втікаємо в Америку. Петім

я ще окремно приписав про те, що як треба буде об-
чим небудь неминучим повідомить мене, то щоб писали в
Нью-Йорк і Сан-Франциско „до потребування“. А там ми
вже заявимо куди нам повинні досилать листи... Річ у тім,
що... — глянувши на товариша—він не скінчив своєї речі.

— Ну, тай дурний же ти Петров! —зупинившись і див-
лячись прямисінько йому в вічі, ляпнув „Кривавая Рука“.
„Гурон“ навіть рота роззявив од несподіванности такого
кінця.

— Від чого ж це так?—Запитав він трохи згодом.

— Ну, подивіться, люди добрі, ще й питає чортів бов-
дур!—зовсім уже стеряв терпіння Литвиненко.—Адже ж
нас зараз доженуть і поведуть назад додому, чортова ти
довбня!.. Ах ідіот... от ідіот!.. приказував він, дивлячись
на товариша і хитаючи головою.

Такі епітети були зовсім не до вподоби „Гурону“ і вик-
ликали збоку його протест в неменш енергичній формі.

— Стривай, чого ж ти, йолопе, лашся?!—з свого боку
пригримнув він на товариша.

— Ще й питає, бісів бовдур! Як же тебе не лаять,
ідіота, коли ти все діло зопсував!

— Чим же я зопсував?

— А тим що, знов кажу тобі йолону, нас доженуть!—
не даючи йому сказати й слова, енергійно поясняв Литви-
ненко.

— Та від чого ж ти думаєш, що вони доконче будуть
доганять нас по цій дорозі?

— А від того, дурню ти, що я сказав машталірові Пет-
рові, що як він передумає і захоче до нас пристать, то
щоб доганяв по цій дорозі... От що!

— „Гурон“ навіть присвиснув від несподіванности та-
кої відповіді. „Кривавая Рука“, сказавши це—те ж, мабуть,
дещо зміркував. Почервонівши весь як рак, він пону-
ривсь і глибокомисне рисував носком свого бутика по піску
якусь то геометричну фігуру.

— От ти вже, брат, так правди-и-ивий осел,---тихо, але з певністю сказав, трохи помовчавши, „Гурон“.

Показавшийся на цей час оддаль, від города, екіпаж примусив Американців як найскоріше перервати суперечку з поводу своєї необачності. В обох них разом промигнула думка про те, що показавшийся оддалі, окутаний курявою екіпаж,—не що єсть инше, як погоня.

— Ну, брат, тепер треба як небудь ратуватись!—перший схаменувсь „Кривавая Рука“.

— Як же ратуватись?—дивлячись на дорогу полохливо запитав отетерівший „Гурон“.

— Зверним мерщій з шляху, добіжемо он до тих кущів,—вказуючи на розкидані недалеко дороги кущі терника, задихаючись балакав „Кривавая Рука“.

— Ну, а потім?..

— Потім проберемся проміж ними вниз до річки. Це буде найкраще... Будемо йти берегом, а як буде погоня можемо заховатись і пересидіть який час у комишах.

— Оце горазд... що розумно, то розумно!—з певністю вимовив зразу набравшийся відваги „Гурон“.—Ну, смали, брат, прямо по оцій межі!

Глянувши ще раз на близившийся екіпаж, товариші звернули з шляху і навзаводи погнали до кущів.

Екіпаж давно уже проїхав і сховався за узгір'ям, а Американці все ще сиділи під захистом кущів. Нарешті Литвиненко встав. Оглянувшись навкруги, він, по всім правилам американських звіробоїв, ліг пластом на землю, припав зпершу одним, потім другим до неї ухом і піднявши потім, якось то коротко і глухо зкрикнув—„гуг“!..

— Що таке?—не розчолопавши відразу і не пізнавши військового покрику міднокожих, запитав „Гурон“.

— А те що опаска проминула і ми спокійно можем чимчикувать далі!—перекинувши знов через плече свій карабин пояснив „Кривавая Рука“.

— А як же ми тепер підем?—запитав „Гурон“ неприємно од товариша пережовуючи шматочок булки.

— А так і підєм... Зпустимось он в ту балку і по ній дійдемо до річки. Ну, мерщій!—і Американці сміливо, навпростець, ударились до ближньої балки. Зпустившись з неї „Гурон“ забачив, що поперед їх, через стежку, промелькнуло щось біле.

— „Гуг!“—скрикнув він так саме, як і Литвиненко і, вхопивши його за плече, примусив припасти до самої землі.—Бачив?—тихенько, лежачи вже, шепнув він на ухо товаришу.

— Що таке?—так же тихо запитав „Кривавая Рука“.

— Поперед нас пробіг якийсь то звір...

— Кудиж він побіг?

— Он у ту сторону,—указав Петров.

— Ну-у... то тобі так здалось.

— От ще! Щож те я, по твоєму, сліпий чи що? Он, он... дивись, дивись...—ще тихше, пошепки, заговорив „Гурон“, повертаючи рукою голову товариша.

„Гурон“ не помилявся. Білий звір на один мент знову показався і, промелькнувши через невеличку прогалину,—знов сховавсь в кущах.

— Лисиця!—відразу рішив „Кривавая Рука“.

— Ще що вигадай... Хібаж білі лисиці бувають?

— А ти їх знаєш?

— Кого?

— Та лисиць. Бачив ти їх?

— А звісно бачив! У мамі ціла сукня на лисячому хутрі і все хутро руде, а не біле,—доказував „Гурон“.

— Ну, а про полярну лисицю ти чував?

— Яку це полярну?

— Таку що плодиться на самім полюсі?

— Ну, так що ж?

— А то, що вона завжди буває біла, як кипень!

— Так та-ж, ти кажеш, на полюсі живе, а ця...

— Що ця? Могла забігти як небудь, ненароком і до нас. От замість того, щоб балакати, давай лиш ми її під-

стрелим!—рішив „Кривавая Рука“ здіймаючи свій смертельний карабин.

— Ну, от коли схаменувся... Та вона тепер чорт батька зна де від нас!

— Жаль! Це б був для нас хорроший знак, коли б нам пощастило підстрелити її.

— Ну, брат, опізнилась,—жалкуючи промовив „Гурон“, одбатувавши собі шматок булки.

Але полярна лисиця, як здається, сама шукала своєї погибелі, бо промелькнувши знову, недалеко од Американців, через поляну,—сховалася за ближній кущ. Зараз же був вироблений план у щоб не стало, а добути такого надзвичайного і рідкого, по місцю, полярного звіра.

„Кривавая Рука“ зрядивши наскорях свого карабина і розсипавши при цьому цілу жменю дробі,—пішов в обхід праворуч, щоб зайшовши зтиха ззаду, випалить в упір по звірю; а „Гурон“, добувши з пихви свій кинжал і прибравши позу бандита пантруючого свою жертву, став на вузькій стежці на той случай, що як би рана нанесена звірю „Кривавою Рукою“ не була б смертельною і він захотів би утекти-то добить його своїм кинджалом.

Від чого поранений звір повинен був утікати неминуче по тій стежці, на котрій пантрував його „Гурон“, се, мабуть, було відомо тільки йому, та, не менш його заінтересованій в цім ділі,—лисиці з полярної сторони.

Як би там не було, а фантазія ставшого на засіди „Гурона“ розігралась так, що й зпину не було їй. Думки його з живої лисиці перескочили на її хутро і зупинилися на тім, що дуже б добре було переслать до дому цей перший трофей своєї здобичі.

— От то був би подарунок на комір мамі!—подумав він, на сам кінець.—Та ще який? Не з якби якої простої, нашої, рудої лисиці,—а з полярної, білої як кипень!

Його думки з поводу цього нежданно були перервані самим задиристим собачим гавканням, котре доносилось з

тиєї сторони, куди пішов його товариш підкратись до за-приміченого звіра.

На превелике диво „Кривавої Руки“ звір, котрого при-няв він за полярну лисицю,—не тільки що не втік за-примітивши його, але дивлячись в упір на нього так і залився по собачі.

— Тьфу, бодай тебе чорти убили!.. Та це ж прости-сінька собака!—голосно промовив Литвиненко.—Ей, Пет-ров!—крикнув він товаришу.

— Що там таке?—одізвався той із за кущів.

— Ось іди лиш сюди!

„Гурон“ кинувся до нього, не вкладаючи все ж таки свого кинжала в пихви.

— Чорт його зна,—думав він, продираючись кріз кущі,—може ще потрібна буде моя поміч?

Вискочивши на поляну він, з диву, ледве не роззявив рота: полярна лисиця покинувши гавкати на Литвиненка, ласкаво виляючи хвостом, направила до нього. У слід за цим розсіялися всі сумниві: надзвичайний звір була про-стисінька собака, та ще до того ж і знайома.

— Та це брат, не лисиця, а Одарчин Білко!—крикнув товаришу Петров, присвиснувши на цуцика.

— Який Білко?

— Та протисінський таки Білко, собака молошниці Одар-ки, що носить молоко нам!—при цьому „Гурон“ зарего-тав.—А ти казав—полярна лисиця!.. От вигадав?.. На самім, каже, полюсі плодиться!.. Ха-ха-ха!..

— Ну що тут смішного?—образивсь „Кривавая Рука“. Відома річ, що єсть такі лисиці... А помилитись кожен може. Адже ж і ти не впізнав?—виправлявся він в своїй помилці.

Балакаючи про це „Кривавая Рука“ й „Гурон“, в то-варистві, ласкаво вилявшого хвостом, Білка, вийшли знов на стежку. Але тут чекала їх нова сюрприза: не встигли ще вони пройти по ній ще й сотні кроків, як ніс до носу зіткнулись з самою Одаркою. На перекинутім через плече

коромислі вона несла кілька глечеків молока, очевидно прямуючи до города.

— Добридень вам, паниченьки!—весело привіталась вона з ними, пізнавши Петрова, на сем'ю котрого завжди постачала молоко.

— Здрастуй, Одарко,—одмовив їй той почервонівши.

— Куди це ви так зпозаранку чимчикуєте, та ще й з провіантом?—зацікавилась вона, запримітивши в руках „Гурона“ зв'язень.

— Та хочем поохотиться трохи,—одмовив за товариша бистрий на рузум в критичну хвилю „Кривавая Рука“.

— А хіба у вас не вчаться сьогодні?—знов запитала Одарка.

— А що б ти луснула!.. От ще причепилась, анахтемська баба, з своїми ветребеньками!—подумав він не добераючи зразу рахуби, що б їй на це сказати?

— Одпросилися в учителя!—не змігши придумати нічого кращого, одмовив він на сам кінець уїдливій Одарці.—Ну ж бо, ходім мерцій!—штовхнув він товариша у лікоть, моргнувши при цьому непримітно. „Гурон“ відразу догадався і, кивнувши Одарці головою, пішов у слід за Литвиненком.

— А що мама ваша дома?!—крикнула вздогін йому Одарка.

Петров нічого не одмовив їй на це, але зайшовши трохи за куці,—Американці зупинились. Для обох них було очевидним, що справа їх, чим далі, то все більш заплутується. Не було жодного зневір'я в тім, що Одарка буде у Петрових і, маючи паскудну звичку язиком горох товкти, розкаже там і про те, що зовсім не тичиться до неї, щоб то про свою зустріч з ними в такім надзвичайнім місці.

— Знаєш що? Треба, брат, її задобрити чим небудь, щоб вона не пробалакалась там... про нашу зустріч,—замітив Литвиненко.

— Я сам так думаю,—згодився, чухаючи потилицю, Петров.

— Так ти от що зроби: дожени її мерщій, дай гривеника і накажи щоб і пари з уст не пускала про нашу зустріч! Чуєш?!

— Добре! — і „Гурон“, покинувши збок товариша зв'язень з провіантом і свій залізний прут, що є духу пустився доганять Одарку.

Хвилини через п'ять він ішов уже назад.

— Ну що? — спитав, підіймаючись з місця, Литвиненко.

— Нічого... все зроблено, як слід!

— Як то, як слід?

— А так, що за Одарку ми можемо бути спокійні. Я їй замість гривеника — дав копишник і вона навіть побожилась, що нікому про нашу зустріч — ні чичирк!

— „Гуг“! Це добре... Тепер, брат, жарь на всі заставки! — і Американці риссю погнали вниз по стежці, поспішаючи мерщій до річки.

Через годину вони були уже на луках.

— Знаєш що, Петров?

— А що таке?

— Ось давай лиш ми зкупаємось на дорогу.

Пропозиція Литвиненка була принята і не більш як через п'ять хвилин товариші були вже в річці.

— А давай наввиренки, хто далі? — знов придумав Литвиненко.

З самого ж початку вияснилось, що вода не була рідною стіхією для „Гурона“. Як він не старавсь зробити що небудь хоч трохи схоже на те, що так чудово виробляв його товариш, — а толку не виходило ні крихти! „Кривавая Рука“, відважно пірнувши в воду, зовсім непримітно ліз по дну мало що не до серед-річки. Що ж до „Гурона“, — то як він не силкувався пірнути в воду, як не довбавсь в ній руками і ногами, — а вона все ж таки викидала його на поверх, як пробку.

— Ну-у, брат, ти зовсім пірнать не вмієш! — на сам кінець, помітив „Кривавая Рука“, безнадійно махнувши при цьому рукою.

— Як то не вмію?

— А так, простісінько: не вмієш, тай тільки! Хіба ж то—єсть пірнання, як ти, сховававши в воду одну голову, дригаєш зверху ногами?

— Ну, то так прийшлося... А ти от подивись тепер!— і набравши в себе духу, „Гурон“ з запалом беркицнувся у воду. На цей раз, правда, він добивсь свого і цогрузився ввесь, але за те в той-же мент і вискочив з води, ухопившись за лице руками. Не сорезміривши глибини з своїм запалом, він пикою своєю не тільки що дістав до дна, але здається, що провів по ньому чималу борозну, бо як лоб, так і правая щока у нього остільки були подряпані, що місцями на них виступала кров. Насупившись від болю і раз-по-раз лапаючи руками подряпану пику,— він стояв вагаючись: заплакати йому, чи може б, не дивлячись на біль, всю цю невдачу обернуть на жарти?

— Нічого, нічого... Це, брат, дурниця!—розважав його „Кривавая Рука“.—Я, брат, як учивсь пурнать, так мало ока собі не виколов на палю... Для тебе, брат, ще дешево скінчилось!

Поміркувавши трохи, „Гурон“ з свого боку теж прийшов до тиеї думки, що Литвінеко прав і порівняно з ним він і справді зовсім дешево заплатив за науку, а через те зараз же геть чисто заспокоївсь з огляду на цю okazію. Та, кажучи по правді, й ніколи таки було звертати увагу на таку дурницю. „Кривавая Рука“, звернувши погляд свій з „Гурона“ на величезний куц очерету, котрий ріс трохи оддала од них,—серьйозно замислився над чимсь то, не зводячи з нього очей.

— Знаєш що?—неждано обернувся він до товариша.—Я, здається, натрапив на дуже добру вигадку для нас!

— Яку?—забувши про свою контузію, спитав зацікавлений „Гурон“.

— Мені здається, що як вирізати товсту комишину, просвердлити у ній наскрізь дірочку і взяти цю комишину в рота,—то можна буде сидіти під водою цілу годину.

Ідея була така блискуча, що Американці наважились негайно виповнити її. Залізши в очеретяний куш, вони, чого доброго, надовго оддались би пробам несподіванного вигаду, коли б неждано не почулось з берега собаче гарчання, незабаром перейшовше в люте валування й вереск. Вискочили Американці з очерету, глянули на берег—і остовпіли! Коло розкиданої одежі чинилась драма: четверо собак завзято гризлися проміж собою за їх дорожний провіант!

Набравши повні руки річного каміння, товариші завивши військовий поклик міднокожих, прозогом кинулись рятувати свою власність. Собака не видержала навіть першого нападу і, трусливо підгорнувши хвост, кинулась у ростіч од Американців. „Гурон“ ледве зупинив „Криваву Руку“, котрий, у щоб не стало, хотів послать вздогін їм де-кілька „пилюль“ із карабина.

Трохи згодом товариші, примостившись в затинку густих дубових кушів, що вкривали взгір'я проти річки, смашно наминали з такою відвагою одстояну провизію. Після закуски рішили трохи відпочити; а через пів години, дякуючи деяким прихильним до того обставинам, Американці спочивали уже тихим сном.

Петров, підславши під голову свою хустку, инколи блаженно осміхавсь ввісні. Чого доброго він бачив вже себе повернувшись додому зо всіма трофеями добутими в своїх блуканнях по нетрах, пустелях і лісах. Картуз Литвиненка, захищавший зперш його лице од уїдливих мух, лежав тепер далеко геть, що давало можливість невгамовному, літавшому круг нього, оводу ревизувати його ніс не тільки з окола, а навіть і з середини. Крутне з просоння головою „Кривавая Рука“, навіть ногами засова конвульсійно, прожене на яку хвилину уїдливого овода—і знову захропе... Дуже вже добре спиться на вільним повітрі, та ще перед дощем! А дощ от-от утужить... Величезна хмара заволокла уже пів неба, а що раз сильніше гуркотівший грім нага-

дував про те, що скоро-скоро темно-олив'яна хмара вибухне Божою ласкою для матінки-землі.

Що ж до Американців, то для них даремні були всі упереження: ні грім, ні шумівший проміж кущами вітер,— не в силах були перервати їх солодкий сон. Розбудив їх зразу, як з відра линувший, дощ.

Першим прокинувся Литвиненко. Невгомонний овод і холодний дощ, на сам кінець, примусили його прийти до себе. Підхопившись зразу на ноги, він, нічого не тямлючи, повів навкруг себе посоловілими очима, на перших порах не розбіраючи: де він і що з ним? Побачивши спокійно починавшого, під захистом густого куща, товариша,—він одразу розшолопав все.

— Ей, Петров!—крикнув він, насовуючи на голову картуз. Чуєш?!.. Петров?!..

— М-м-м ..—промукав той, перевертаючись на другий бік.

— Та підіймайся ж, йолоп!—напосідав „Кривавая Рука“, штовхаючи його ногою в бік.

„Гурон“ підвівся, сів і, не розплющуючи очей, почав ліниво чухать спину.

— Та ну ж бо підіймайся, чортів бовдур!.. От ще уперте бидло!—і Литвиненко, вхопивши товариша за руку, примусив його, на сам кінець, піднятися на ноги.

— Ну що тобі?.. чого ти причепився?..—дивлячись на нього сонними очима, запитав „Гурон“ Ой-ой-о-о!.. А дощака який луце!..—відразу зрозумів він, ховаючись під захист добового куща. „Кривавая Рука“ став поруч з ним. Хвилин з десяток товариші стояли мовчки: кожен з них про щось то мізкував. Пробивавшийся кріз листву дощ все більше й більше дошкуляв їх.

— Кепська справа!—пробурчав „Гурон“ зкривившись.

— Зовсім погано,—згодивсь, переступаючи з ноги-на ногу „Кривавая Рука“.

— А знаєш що я думаю?—якось то не рішуче обернувся до товариша „Гурон“.

— А що таке?

— Чи не вернуться нам до дому? Ти бач яка негода тай вечеріє вже... Куди ми тепер підем?

— Я сам, брат, так міркую!—зрадів Литвиненко. Як здається така ж саме думка засіла і в нього в голові, але він не наваживсь перший виказати її з боязні бути запереним в легкодущності.

— Ну так що ж? Виходить що повернемо назад голблі?—запитав „Гурон“, підсукуючи свої шаровари.

— Мабуть що так... І чим скоріш, тим краще! Здається що дощу й кінця не буде.

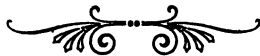
— Та вже от-от і вечір... Дай Бог щоб на ніч вернуться до дому,

— Ну так шкварь мерщій!.. нічого й стовпичити тут!—рішив „Кривавая Рука“.

Услід за цим товариші, підганяємі дощем, навзаводи пустилися назад до города, з поспіху забувши під кущами віжки і залізний прут.

Пізно ніччю мокрі, перемерзші і змучені Американці доплентались, на сам кінець, до дому.

Як не викручувались вони, з'явившись в клас, в брехні, а замір їх дати дропака в Америку, був все ж таки дізнаний. Дякуючи йому Петров і Литвиненко, весь час свого пробування у гімназії носили у товариства прозвище „американців“. Здається, що це прозвище пішло у слід за ними і в університетську аудиторію.



— А того, що не велено пускати вас, от що! Коли треба буде, то покличуть!

— Послухай, Степане,—у мінорнім тоні почав Більський, штовхаючи злегенька суворого швайцара в лікоть,—ти якось, голубе мій, через край вже забираєш... Не під дощем же нам стоять ждучи того, коли покличуть? Як же так, братіку? Ми все ж таки не лакузи які небудь, а артисти, хоч і служим у твого хазяїна... Ти, брат, повинен це розуміть...

— Та що й казати: артисти—одно слово...—промимрив Степан собі під ніс, поправляючи на голові картуз.

— З наших є вже хто небудь?—згорда запитав Любарченко, силкуючись позкидати з своїх ніг мокрі, діраві калози.

— А вже ж... ціла „капелія“ зібралась...

— Деж вони?

— В парадних покоях... на сходах ждуть. Цілу годину вже, як лаються проміж собою. Ех!.. узав би я всіх вас „акторів“ та „актрис“, та...—тут Степан зробив рукою такий, кожному зрозумілий, рух, від якого навіть Більському стало ніяково.

— Ти, голубе мій, якось уже дуже багато береш на себе, от що!—не стернів, щоб не завважити Іван Никифорович.

— Чого багато?

— А того,—з свого боку промовив, підіймаючись у верх по східцях, Любарченко,—що пикн вам, лакузам, бьють за це, от що!

— Ну, ну... ти не дуже до пикн ліз! Бачили ми вашого брата!.. Теж подумаєш, велика цяця—„актор!..“ Кожна, прости Господи, гольтіпа, а туди ж до пикн... тьфу!..—не звертаючи вже уваги ні на що, кричав швайцар на акторів, що підіймалися по східцях.

Більський і Любарченко, зійшовши вгору, застали там мало що не всю свою трупу. Хто сидів на підвіконниках,

хто на перилах, а декотрі прямо на ступінках сходів. Всі чекали на виплату, що припадала їм від антрепреньора, який був zarazом і хазяїном готелю.

Пані Бутузенко, жінка Любарченка, примостившись на невеличкім столику, що стояв під зеркалом, переляювалась з своєю товаришкою, співачкою Саломонською. Дебела пані розмахувала при цьому руками і ногами так, що маленький столик на точених виборних ніжках часто і жалібно вискрипував, немов би скаржучись на те, що його вутлі сугави, на сам кінець, не видержуть такої-важкої парсоні і ввесь він розлетиться в щент!

— І що ви про себе гадаєте, пані Саломонська? Ви думаете, що лише ви акторка, а всі інші—то сміття? Ви не дуже за хмари залітайте... Я, ще як служила в оперетці, то далеко більше вашого мала поспіху в публіки, от що!

— Ну і який ви мали там поспіх?—погордливо завважила на це співачка Саломонська.—З такою фігурою і в оперетку?.. пхе! От ви тільки балакаєте і то під вами стіл тріщить!— В вимові Саломонської дуже ясно визначалась співність бердичівського жаргона.

— Теж балакаєте про оперетку,—знову почала вона. Ну що таке ваша оперетка?

— У всякім разі далеко краще вашого кафе-шантана, відкіль попали ви до нас на українську сцену!—обірвав її нежданно з'явившийся Любарченко.

— Куди це „до вас?“ І що ви за птиця на українській сцені?! Був собі „табельщиком“ на бурякових плантаціях, а теж: „наша українська сцена“! Хто вас зачпав, що ви встряли?.. З вами балакають, чи що? Чортів смаровізі!..—з свого боку заступивсь за жінку пан Борух Саломонський.

— Ну, ти... жидюго!.. Шша!... А то аж забурчиш по східцях!—підійшов до нього Любарченко, стуливши кулаки.

— Ей, Тихоходе! Хочеш піймать за хвіст фортуна?— обернувся з коридора півп'яний танцюрист Харченко до свого білявого товариша, що сумно позирав в вікно.— Чув, чи ні?

— Що таке?— нехотя одмовив той, не обертаючись до нього.

— В орлянку хочеш?

— А гроші є?— запитав Тихоход з недовірством позираючи на товариша.

— Єсть, єсть... будь спокійний: зараз „карася“ обставив на цілого червінця!— запевнив його Харченко, поляпуючи рукою по кишені.

— Добре... а по скільки ставка?

— По гривенику кожен раз... Мадам!— підійшов він до хористки Вороньцької, що, сидючи на підвіконнику, переморгувалась з кимсь насупроти в вікно,— уступіть, будь ласка, нам своє містечко, ми зараз зточим тут бойовище проміж собою!

Заволодівши підвіконником, Харченко й Тихоход почали грать на ньому в „орла“ і „решку“.

Режисьор трупи Віктор Степанович Хохлатий, людина вагою пудів у десять, з подвійним, як у расового беркшира, підбороддям і потилицею, з скляними витрішкуватими очима, в сотий раз розказував хористам, що стояли навколо нього, до чорта всім уже обридлі анекдоти. Сердешні хористи повинні були не тільки осміхатись, але навіть реготати, не дивлячись на те, що кожному з них було далеко не до сміху. Як що „артисти“ жили „в проголодь“, то животи хористів давно вже і притьмом* заявляли своїм хазяїнам по поводу хроничної голоднечі.

— Та що ж це, виїде сьогодні до нас наш хазяїн, чи ні? Цеж чорт батька зна на що похоже! Що ми, лакузи, — бодай його чорт батька гопки вдарив, — чи що, що будемо чекать його на східцях по три години!?— бунтувався гоноровий пан Пшецінський, що займав „поки що“ посаду суфльора в українській трупі. Річ у тім, що з самісінько-

го ранку пан Пшецінський не проковтнув ні одної чарчини „вудки“, а від того й ходив, як хмара темний, лютуючи на всіх. Зле обличчя, з червоними набряклыми очима, скуйовджене волосся на голові і бороді—не віщували нічого доброго тому, хтоб здумав мати з ним в цю хвилию яку небудь справу.

— Деб турбуватись вам, пане Пшецінський, то ви б краще пішли та витягли його з кабінету і поставили віч у віч перед усею громадою,—обернувся до нього sub-режисюр пан Гораздович, байдужно шліхтуючи шматочком скляного паперу виточений кілочок до своєї бандури.

— Ну, це вже вам належить бігати „з докладом“, пане Гораздович; а з мене, будь ласка, зложіть ви цей уряд!

— Та яж на користь вам кажу. Чим більше будете чекать і турбуватись, тим більше крові попусете собі... А дже ж ви сангвиник, пане Пшецінський.

— А ви флегматик і...

— Що таке?

— І дурень, щоб ви знали!

— Прикро, але цілком не розумно,—не ображаючись прощдив кріз зуби Гораздович, міняючи потертий скляний папір на новий.

— Іде, іде, панове!—вихопившись з коридора упередив усю компанію засапаний хорист Вуколка і, притулившись до перилець східців, шановно зігнувшись, начеб то зомлів, чекаючи на грізну парсуну свого антрепреньора.

Слідком за ним показався сам „хазяїн“ трупи Олексій Іванович Миколка-Заґрібайло.

Ні фігурою, ні убранням, ні манерами Миколка-Заґрібайло зовсім не скидався на антрепреньора. Широке, скуласте обличчя, з товстожючими губами, сорочка-косокомірка, засмальцьовані на колінах шаравари, засунуті в чоботи—давали йому схожість на буфетчика з реставрації середньої руки; а розмашні манери і нескладна мова показували в ньому коли не „шибая“, то дрібного рядчика-протисвіта.

Як те, так і друге в ніякім разі не свідчили про нього, як про людину, що стояла поруч з штукою.

Зпершу Миколка-Загрібайло, будучи хазяїном готеля „Трансваль“, разом з тим держав і буфет при городським театрі. Придивившись до театрального діла, він рішив узяти антрепризу городського театру в свої власні руки. Здержувало його поки що від цього заміру те, що він ніяк не міг пришукать собі певного твариша з актьорів, який зміг би на його думку, зібрати підхожу трупу. Фортуна звівши до купи Миколку-Загрібайла і Хохлатого, зробила з першого антрепреньора, а з другого режисьора. Позналились вони в великім пості в Харькові, в актьорським ресторани „Ялта“. Віктор Степанович своїм обличчям і розмовою так імпонував новому антрепреньорові, що той тут же запросив його на службу режисьором в свою трупу, яку й поручив йому зібрать. Хохлатий, звичайно, згодивсь і зараз же рекомендував йому свою „жінку“, паню Дундосову, на ролі „перших героїнь“, ні крихти не задумуючи над тим, що до того часу вона служила в різних трупах тільки як хористка. Трупа була зібрана нашвидку, як небудь... Не в інтересах режисьора було запрошувати до служби в ній більш чи менш путящих актьорів і актьорок; треба було підібрати трупу так, щоб в ній визначались „тільки“ він та жінка. І в цім добродій Хохлатий цілком добивсь свого, так що скомплетована ним трупа, як з погляду матеріяльного, так і морального скидалась більше на мандрівну циганську банду, ніж на товариство „святої штуки“. Звичайно що каси не зробили навіть і перші вистави... Тоді Миколка-Загрібайло задумав поправить діло тим, що запросив до себе в театр, для дівертисментів, кафе-шантанних „баришень“, але діло від цього не тільки не поправилось, а зовсім упало так, що Миколка-Загрібайло рішив перебраться з своєю трупою у другий город. Зупинившись на цьому, оглядний антрепреньор мав замір як можна дешевше перевезти свою трупу на нове місце. Річ у тім, що при переїзді у другий город кожному з актьо-

рів треба було розплатитись за квартиру, харчування і т. и, а для всього цього неминучі були гроші: четвертаками і коповиками обійти це питання було прямо таки неможливо. Актьори розуміли це краще, ніж антрепреньор, і від того, прочувши про переїзд, зробили *in corpore* рішучий напад на квартиру свого хазяїна, чим і вияснявся натовп служників богині Мельпомени в готелю „Трансваль“.

Обличчя Олексія Івановича було понуре і не віщувало нічого путнього акторам і акторкам, що чекали на нього. Почоломкавшись з Хохлатим і кивнувши решті скуйовдженою головою, він важко сів на ввічливо присунутий Тихоходом стулець.

Запанувала хвилина найнуднішої мовчанки.

— Ну що ж, Олексію Івановичу, — потираючи руки, якось то несміливо почав був Більський.

— Що таке? — скоріш буркнув, ніж спитав Миколка-Загрібайло, скинувши на нього вовчий погляд.

Та я про те, Олексію Івановичу, що як ми: їдем, чи не їдем звідсіль? — немов би перепрошуючись, промовив Іван Никифорович, відкриваючи вдсяте свою порожню папіросницю.

— А вам то що до того, чи ми їдем, чи ні?

— Та як же що, Олексію Івановичу?.. Як що їдем, то грошей треба. Треба ж розплатитись за харчування, за квартиру... тай на новім місці...

— Та що ви мені почали тут теревені править! Вам одному треба, чи що?.. Гроші, гроші!.. А ви знаєте, яка була на сам кінець каса?.. Гроші... Вам тільки гроші! — скинів, зірвавшись з місця, Олексій Іванович.

— Та я щож... до других мені діла нема, я за себе... Річ, бачите, у тім, що без грошей... — і не договоривши Більський якось то не примітно затушкувався у куток.

— Ну, що ви всі гуртом набігли?! Як наче на ліцитацію куди зібрались! Чи ви думаете, що як усією громадою притиритись, то я вам так і розтопирив свої кишені: беріть, друзі мої милі, хто скільки хоче! Теж „артисти“!..

От ви, наприклад, пане Любарченко, чого притирились? Адже ж я вам раз уже сказав, що грошей вам на виїзд більш трьох карбованців не дам!

— Перепрашаю, пане директор. Щож з того, що ви заказали? Малоб чого ви не заказали! А як же я не можу рушнитись із місця з трьома карбованцями?

— Не можете, то зоставайтеся тут! Теж, подумаєш, персонал який... Ну, кому скільки треба грошей?—трохи згодом запитав Олексій Іванович, витягаючи з бокової кишені олівець і записну книжку.—Тільки уперед кажу, що кому менше треба, той більш візьме... Чули?

— Нам, Олексію Івановичу, треба не менше 25 карбованців,—згинаючись перед хазяїном, перший обізвався Саломонський.

— Ого-го!.. протягнув записуючи Миколка-Загрібайло.

— Ну і що ж там за „ого-го“? Що ви поробите, Олексію Івановичу, коли жінка не може меншим обійтись? Ви ж сами знаєте, що в нас діти, нянька...

— Ну от... теж заказав! Та хіба я дітей ваших і няньку в свою трупку брав, чи що?.. Ну ви... де ви там сховались; Більський! Вам скільки.

— Та бачите... мені Олексію Івановичу...—знов відкривається порожня папіросниця.—Мені, бачте, як би вам сказати, треба... Та кажи, якого ж ти біса мовчиш?!—несподівано обернувся він до своєї жінки, штовхнувши її ліктем у бік.

— Нам, Олексію Івановичу, треба, — почала пані Більська, часто моргаючи очима.

— Аджеж я вас не питаю!—обірвав її Миколка-Загрібайло.—Ну, я вам, пане Більський, запишу на випивку і на дорогу 5 карбованців. Доволі буде з вас?—знов обернувся він, трохи вже ласкавіш, до її чоловіка.

— Як же це так: на випивку і на дорогу? А на сем'ю нічого? Що ж це: в інших діти, а в нас щенята, чи що?.. У нас теж діти, та не одно, не двоє, а...—і пані Більська, конвульсійно заморгавши очима, полізла в раді-

кюль за хусткою. Нам неминуче треба теж 25 карбованців,—скінчила вона з плачем.

— Ну-у... Це ви не по чину бажаєте, мадам! Що в мене „Воспитательний дом“ для ваших дітей, чи що? Це як усім давать по 25 карбованців, так... Ей ви, Рожков! —обірвав він зразу свою річ.—Вам скільки прикажете?

Рожков, ввічливо уклонившись,—промовчав.

— Ну? Чогож ви мовчите?

— Дозвольте мені за нього приказать вам, Олексію Івановичу,—підійшовши до антрепреньора і витріщивши на нього п'яні баньки, ляпнув Харченко; він тільки що упоравивсь спустить Тихоходу видурені в „карася“ грошенята.

— Ну ви, „художник“... Вам чого ще?

— А от хочу приказать вам негайно видать мені на дорогу 50 карбованців авансу, а тако ж поклопотать за мій багаж... От що!

Мало що не всі зареготали. Річ у тім, що Харченко, маючи 30 карбованців на місяць плати, якось то вмудривсь залізти в аванс до антрепреньора карбованців на 50; щож до багажа, то весь він, крім того що було на ньому складався з матроської куртки і картуза, потрібних Харченкові у дивертисментах для таця matelot.

— Ну, що до вас, пане Харченко, то я не маю на думці давать вам більш ні одної копійки... от що!

— Як це: ні одної копійки? Я й не вповаю на копійки!

— А на що ж ви вповаєте?

— Кажу ж вам, що на цілі карбованці Не можу ж я їхать „як небудь“?—додав він з комічною повагою.

— Ну, звичайно... Навіщо вам їхать „як небудь“, коли ви можете завжди проїхать „зайцем“? *) Адже ж це не первина вам?

— Що-о?... Я, Харченко і... „зайцем“? Ну, ні, Олек-

*) Без білета, давши на могорич кондуктору.

сію Івановичу! Я надто для цього гордий і коли фортуні забажається, щоб я покинув цей кепський город, то я скоріш пристав би на те, щоб чкурнути звідціль упрощеним способом...

— Як це?

— По шпалах!., але тільки не „зайцем“... Ех, Олексію Івановичу! Не знаєте ви гордості артиста,—з докором додав він, поляпуючи злегенька долонею по плечіх антрепреньора.

— Ну, ну... ви! Подалі з своїми лапами!—grimнув на нього Миколка—Загрібайло. Очевидно фамільярність Харченка була йому далеко не по душі, найбільше всього тим, що понижала його престиж, як директора, перед усією трупю.

— Цураєтесь панібратання зо мною?.. Стривайте: дасть Бог прийде може такий час, що ще на брудершафта вип'єм!.. Quousgue, Satibina!.. або дай краще цигарку!—раптом якомсь обернувся танцюриста до Любарченка.

— Піді ти під три біси!—буркнув той, однихаючи його від себе.

Миколка-Загрібайло записував у книжку хто скільки просив на виїзд грошей. Записавши всіх і підсумувавши, він так і шкваркнув книжкою об стіл.

— Та що це ви, панове, з ума позіходили, чи що? Де ж це я у бісового батька візьму вам стільки грошей?.. Адже ж тут уже виходить 370 карбованців!.. А багаж, а дорога?!.. До того ж сюди ще не ввійшли ті гроші, які треба дати Хохлатому і Рубану. Ні, панове, це дурниці, так не можна!..

— А дозвольте запитать вас, Олексію Івановичу, скільки ви хочете дати пану Рубану?—граючись лануючком від годинника, обернувся до нього режисьор Хохлатий.

— Та я вже й сам не знаю, що мені робить з тим Рубаном? Він мені прямо таки на горло наступає! Вчора, бачте, заявив, що йому на виїзд треба не менше 100 карбованців.

— Ну-х... що це він із глузду зсунувся, чи що? При таких ділах і 100 карбованців на виїзд—це глум тай

тільки! Я одного ніяк не зрозумію,—при цьому Хохлатий підійшов ще ближче до антрепреньора, заслонивши його своєю фігурою від інших,—як можна бути в такому становищі, в яке ви поставили себе до пана Рубана?

— Але щож ви поробите, коли він неминучий чоловік для діла?

— Мало що неминучий! Це ще не говорить за те, що треба робити для нього все, що він захоче.

— Ну, а по вашому, то як же?

— А так: не дати, тай тільки!

— Еге ж, не дайте, то на завтра їх і слід проходоне! Вони, здається, сами б'ють на це, бо ні він, ні жінка—контракту не підписали.

— Ну й чорт з ними, нехай собі йдуть від нас!

— Та ак... А хтож нам заступить їх?

— Найдем на їх місце; а поки що ролі Рубана—буде грати Любарченко.

Любарченко, що визирав в вікно, почувши про що йде річ, прибрав на себе поважну постать і кахикнув.

— Ну-у... Ще що вигадайте!.. Хіба ж Любарченко актор? Це теж не краще Харченка „художник“! Ні вже як небудь треба ладнати з Рубаном,—додав зітхнувши Миколка-Загрібайло.

— Мені цікаво от що, Олексію Івановичу,—знов почав Хохлатий. —Аджеж Рубан, о скільки я знаю, чоловік заможний і крайности у грошіх не повинен мати. Навіщо йому така сума? Як що я просив у вас 100 карбованців, так мені їх до зарізу треба, а для нана Рубана, мені здається, на виїзд цілком доволі буде 25 карбованців.

— Дозвольте вже мені, пане добродію, знати про все те, що тичиться до мене!

— Хохлатий обернувся: перед ним стояв, непримітно увійшовший, Рубан. По блідому лицю його пробігала судорога; очевидно він був дуже стурбований, почувши ненароком розмову, що провадилась проміж хазяїнами і ледве

здержував себе. При погляді на нього витрішкувата фізіономія Хохлатого приняла якийсь плаксиво-прошпетливий вираз, а очі, поблукавши зпершу навкруги, на сам кінець, зупинились на носках чобіт Рубана, що так з'явився не до речі.

Настала маленька павза.

— Та виж не знаєте, Виталію Никоноровичу... — почав був режисьор, бажаючи як небудь викрутитись.

— Я знаю тільки одно пане Хохлатий, що ви скрізь і завжди соваєте свого носа туди, де вас не бажають і я раз назавжди прохав би вас залишити свою опіку наді мною. Це було б спокійніш для мене і безпешніш за для вас!

— Це шож таке? погреза?.. Дивно!—прибравши позу, одмовив Хохлатий.

— Дивного, по моему, немає тут нічого, а все таки я вважаю за обов'язок ще раз пригадать вам за безпечність.

— Чого ж це власне мені?

— А от послухайте, я вам поясню.

— Та ну бо, панове, залиште цю розмову!—бажаючи вгамувати сварку, встряв Миколка-Загрібайло.—Ну що ви завели тут свої рахунки. Так як наче справді які небудь...

— Ні, ви вже залиште нас, Олексію Івановичу,—зупинив його Рубан.—Ваше амплуа, як антрепреньора, не подібне до того дівертисмента, який ми хочемо виконати з паном режисьором!

Всі затихли, чекаючи на бешкет.

— Вам чогось хочеться сьогодні прискіпатися до мене, пане Рубан,—не з такою вже певністю заговорив Хохлатий.

— А вже ж, щоб ви знали! Мені давно вже кортить, як слід поговорити з вами, пане режисьор. Давно вже доходять до моїх ушей всі ті паскудства, які ви розносите про мене по всіх усядах,—але досі я спиняв себе...

— Це робить честь вашому тактові, хоч я його досі не примічав у вас.

— Примічали ви, чи ні—то байдуже мені, за тим що...

— За тим, що дивлячися на вас, я...

— Я вас прошу не перепиняйте мене!—при цьому Рубан, не здержавшись, ударив кулаком по столу.

— Ну, вибачайте, будь ласка... Я зовсім не маю заміру балакати з кожним...—Хохлатий зупинивсь.

— Кажіть, кажіть не соромтесь: з ким?

— З кожним бешкетником!—і Віктор Степанович, прочуваючи щось кепське, повернувся, щоб шмигнуть до себе в номер. Обличчя Рубана перекривилось. Вмить зірвавшись з місця, зхопив він Хохлатого за руку і обкрутивши поставив його так, що загородив йому собою дорогу до кімнати.

— Ну-у... Пішло тепер писати! Залиште бо цю суперечку, будьте ласкаві!—ще раз спробував устрять Миколка-Загрібайло.—Ну що вийде путнього?..

— Ще раз прошу вас не мішатись, пане Загрібайло!—крикнув Рубан, тупнувши ногою. Олексій Іванович, безнадійно розвівши руками зховався в коридорі.

— Ви вшанували мене, добродію Хохлатий, бешкетником,—все більш і більш обурюючись, знову почав Рубан.—Почасти ваша правда: я чоловік гарячий, нестриманий, навіть нечемний... але все ж таки, не дивлячись на всю цю негарну вдачу, мені далеко ще залишилося до тих границь, які ви Бог зна коли вже переступили!

— Які ж це такі границі? Цікаво знати.

— Добре! коли бажаєте—почну одно по другому. Найперш границя фальші. Позаторік, як що пригадуєте, ви видурили в пана Сагайдачного гроші, наче б то на лічення своїх „погорівших“, по власному вашому виразу, дітей. Це, як виявилось потім, була чистісінька брехня! Ваші діти не тільки не горіли, але навіть ні одно й не опеклось... Виходить, що ви брехун!

— Що?!.. Та як ви сміли...

— Мовчіть, грець вас убий, не перебивайте, бо погано буде! Було одне врем'я коли ви лежали хворий, не маючи місця служби, без гроша в кишені, — коротко кажучи—ви і вся ваша сем'я були в безнадійнім стані,—вів далі Рубан свою річ.—Найшовсь один мягкосердий дурень, що розкиє від ваших плаксивих теревень, пропонував вам поміч в делікатній формі: запросив вас до себе у маєток погостювати. Ви приїхали і не один, а самоп'ятий з жінкою і дітьми і прожили в нього з пів року на всім готовім... І чим же ви, на сам кінець, віддячили йому за гостинцю? Мало того що оббрехали чоловіка, який став вам у поміч, ви на од'їзді, потягли його до суду, скаржучись на те, що вам зопсували „весь сезон“. Приятель, що дав вам притулок у себе, аби уникнути бешкету, згодивсь оддати вам на дорогу 300 карбованців, здається й з гаком ще. Правда що за такий учинок вас привселюдно вшанували поганцем і витурили з тієї компанії, в якій ви до того часу повертались. Я міг би розказать ще, добродію Хохлатий, що зробили з вами в городі Ефремові ваші товариші за те, що ви розпускали по за хахульками поголоску, яка позорила їх честь; як вас за 24 години вислали з Одеси за один вчинок, що бив у ніс специфічним запахом шантажа... і багато-багато ще дечого, але бачу, що обличчя у вас почервоніло немов півонія, та й губи надто вже дріжать, значить, не далечко вже й до сліз, яких ви часто таки над'уживаєте; а від того... кінчаю. Тепер моє вам поважання! Надіюсь, що ми вже у всякім разі не стрінемося з вами як приятелі після цього!

— Я одному дивуюсь: як це ви, пане Рубане, замість божевільні попали на сцену?—зкривившись промовив Хохлатий, йдучи до себе в номер.

— На світі багато єсть незрозумілого, пане Хохлатий. Чи гадали ви, будучи шпигом при поліції, бути не тільки актьором, але навіть режисьором в українській трупі?—питанням на питання вдогін йому одмовив Рубан.

— Вікторе Степановичу!—крикнув Харченко підійшовши під двері його номера. —Може оддастьте наказ занести всю цю розмову в режисьорський журнал другим на добрий приклад?

— З вами, пане Харченко, ми ще порахуємось... Ви про це не забувайте!—донісся з кімнати голос Хохлатого.

— Фю-ю-і-іть!—засвістав Харченко.—Знаєте, пан Хохлатий, приказку: голому не страшний розбій,—то так і мені. Зробить зі мною що небудь гірш того,—що я сам з себе, зробив—ніхто не може... А від того—начхав я вам, пане режисьор, в самісіньку потилицю!—скінчив він, заложивши в кишені руки.

— Ну, а тепер, панове,—обернувся Рубан до всіх,—я і моя жінка бажаєм вам всього найкращого на новім місці.

— Як це так, Виталію Никоноровичу,—зпитав Пшеціньський.

— А так, що їхати далі з вами—ми не їдем, бо не хочемо служити в таких дзіндзівер-зухів, як Загрібайло та Хохлатий.

— А як же нам то бути, Виталію Никоноровичу?—підійшла до нього пані Більська.—Адже ж він не дає нам грошей навіть на переїзд! Що ж воно буде?

— А буде те, мадам, що, здається, всі ми підпадем під Некрасовський вираз: „и пошлі оні солнцем паліміе“...—замітив безжурний Харченко Так і ми: розліземось усі, як руді миші, діставши по дулі на пам'ятку од Загрібайла і скажем: „суді его Бог“! От що!

— Ну, ні, брат... чорта пухлого! Я, як що не оддасть грошей, пряма до поліцмайстра!—храбрував Більський.—Я йому покажу!

— Ну і що ви йому покажете? Свою порожню папіросницю?—замітив Саломонський.—Нічого ви йому не покажете!

— Що?!—аж зкрикнув Іван Никифорович, але згадавши за сусідство директорського кабінета, зразу зпустив тон.—Я йому докажу, що він має справу з актьорами, а не з лакузами, от що,—додав він зовсім уже тихо.

— Та ти широкий, як без нього, а при ньому слово сказати боїшся... Теж Франціль-Венціян! Завжди, як квач той п'яний, а тудиж, доказувати береться!—напала на нього розгнівана супруга.

— Ну, ти, ідіотка!... Мовчала б краще! Ти теж замість того, щоб говорити як слід, нюні перед ним розчупила... Тьфу, чортова тонкослізка!—при цьому Іван Никифорович знов навідався у свою порожню папиросницю.

— Ну, панове, до побачення! Ми ще побачимось: я приїду виражать вас, на вокзал, —і Рубан повернувшись пішов униз по східцях.

— Почекайте трохи, Віталію Никоноровичу, і я з вами! —крикнув Гораздович, доганяючи його.

— Слухайте, Віталію Никоноровичу,—почав він, ідучи поруч з ним по улиці,—ми тепер сами, дозвольте мені сказати вам дещо з поводу вашого вихода з трупи.

— Будь ласка! Кажіть в чім річ?

— А от в чім: я покладаю, що як ви, так рівно й ваша жінка не маєте права покинути нас в теперішнє врем'я.

— Чого це ви так думаете?

— З ріжних причин; а найголовніш того, що Миколка-Загрібайло, прискіпавшись до цієї okazji, розпустили трупу, гроша мідного нікому не заплативши.

— Так це ж саме він може зробити і при мені.

— Ну, ні... Мені здається, що ви могли б вплинути як на антрепреньора, так і на всю трупу, об'єдинивши її всю і заставивши як слід поглянути на діло. Ви все ж таки маєте проміж товаришами силу; поговоріть ви з ними і вони вас послухають, покинуть п'янство і всі свої „художества“, як каже Загрібайло і візьмуться як слід за свої обов'язки. Діло ще можна поправить. Вся суть у тім, щоб вплинути на них...

— Стривайте, стривайте, Гораздович... Ви хочете сказати, щоб я, zostавшись, зробив моральний вплив на всіх своїх товаришів?

— Власне так! Підійметься моральний добробут трупи, то разом з тим підіймуться й матеріальні її фонди, бо я певен в тім, що це відіб'ється й на касі: а все це взяте купою примусить і Миколку-Загрібайла бути щедрішим до розплати. Як ви не думайте, а моральна сторона в цій справі...

Рубан, не давши йому скінчить, зареготав.

— Гораздович, голубе мій, скажіть мені: скільки років, як ви вже на сцені?

--- Десятий рік.

— Десятий рік і досі такі наївні? Та придивиться, любий мій, з кого складається вся наша трупа? Та не одна наша, а мало що не всі українські трупи? Як і ким вони комплектуються в теперішній час? Адже все це, за малим віїмком, банда неуків, п'яниць і ледарів, які моральний бік діла виміряють матеріальною його користю, а не навпаки!.. А ви точите баяси про моральність... Подивіться на свій теперішній і пригадайте склади труп, де перше ви служили: що не особа-то перлина! Хто служить тепер у нас на українській сцені? Приказчик—п'яниця, перукар, ремісник-лінтюга, чоботарь... єсть, навіть, биржаки на ампула танцюр! Все це народ прагнутий легких заробітків. Вони ходять ледве не босі, мерзнуть, голодують, але зате, прикрившись назвою „артиста“, це б то „ушляхотившись“, покладають, що мають за собою право байдикувати і вдовольняти домаганням тієї лінії і безладдя, ради яких вони змінили своє давніше рукометство—на сцену. Це актори; що ж до акторок,—ще гірш! Сьогоднішня прачка, покоївка, в кращім разі швачка,—завтра,—протегована яким небудь „таланом“—ковалем, або циркульником—„артистом“,—грає відповідальну ролю в пьесі, або співа,—поправніш кажучи,—верещить Наталку, або Оксану в українській опері... Який же можна приложить моральний ценз до таких осіб. Що їм Гекуба і що вони Гекубі?

— Кажучи по правді, Виталію Никоноровичу, для сучасного нашого репертуара і не треба інтелігентних виконавців,—замітив Гораздович.

— От у тім то і все горе, що такий склад виконавців породив цілий цех драматичних мастрів для української сцени в особах добродіїв Макарєнків, Мокропольських, Захаровичів, Жєно-Юльчєнок et cetera... Для цих цехових драматургів— не писані закони! В погоні за ефектом вони примушують героїв своїх штук, у нападі шалу, виволікати на сцену за коси своїх жінок, різати, на очах у глядачів, серпами шиї, рубати голови на плахах при погребовім дзвоні і т. н. Один з цієї плеяди авторів умудривсь, між иншим, скомпонувати історичну штуку, *chef d'oeuvre* відносно типів і історичної правди. Посадивши рядом за столом, серед двора, за четвертною сулією горілки, Мазєпу, Іскру, Кочубєя з жінкою і... Богдана Хмельницького, заставив їх без усякого сорому проспівати: „Ой куме, куме—добра горілка!“ Ясно, що хоч трохи інтелігентних глядачів нудить від такої естетики, але... „гальорка“ плеще в долоні і викликає виконавців, а знайомий неук-рецензент гляди ще й похвалить у своїй газетці і виконавців і автора... Виходить, що успіх як тих, так і другого—забезпечений.

Почекайте, Виталію Никоноровичу,—перервав його Гораздович,— по вашому виходить, що ремесник, навіть і талановитий, не має права бути на сцені? Я з цим не згоден!

— Вибачайте, ви мене не зрозуміли. Я не хочу цим сказати, що для коваля, або шевця,—в дословнім значінню,—доступ на сцену був би заборонений,—боронь Боже! Я знаю одного шевця, здається й ви про нього чули, котрий дякуючи, перше, своєму таланові, а вдруге, трудові, енергії й допитливості,—сам освітив себе, вибивсь в люди і занявши визначне становище на українській сцені, дає їй незрівняно більшу користь, ніж змогли б дати їй десятки безталанних інтелігентів! Але... це, любий мій,

одинокі поява і узагальнювати її не можна. Решта-ж, усяких цехів майстри, були, єсть і на далі будуть тим негідним ні на що баластом, дякуючи якому все нижче й нижче падає справа українського театру. Здається, що вже близьиться той час, коли ці служники святої штуки загонять її в домовину й дадуть змогу всім ненавистникам її преспівати над нею, в мажорнім тоні, „вічну пам'ять“. А що час цей близько—то єсть факт! Не дурно появилася ознака в лиці таких „діячів“, як добродій Хохлатий в ролі не тільки простого актора, але навіть режисора. Тут, любий мій, моральний вплив уже безсилий: згряя згряєю й зостанеться... Як не культивує бур'ян, а не добудеш з нього пшеничного зерна!

— Я от слухаю вас, Виталію Никоноровичу, по часті згожуюся з вами, а в голові моїй стоїть питання: хто ж цьому винен? Адже ж була така пора, коли український театр стояв дуже високо, не дивлячись на невеличку кількість служників його й малий репертуар?—сумно запитав Гораздович.

— Хто?—перепитав Рубан.—З певністю сказати вам про це не можу. По моему винні ті, що спорудили справу українського театру, що були вчителями для більшости українських акторів. Вони перші спорудили всю цю справу—вони ж, по моему, перші почали й валить її.

— Як? Чим?

— А тим, що більшість з них, з деяких причин, про котрі багато треба говорити,—виходячи по троху з свого першого, колись то „славного гнізда“,—почали засновувати свої власні трупи. Маючи недостачу в акторах і акторках, вони без розбору комплектували їх будь ким і аби як. Скажу коротче: вони, на сам кінець, уподобились „рогу рясноти“, щедро розсипаючи на українську театральну ниву, з невеличким відсотком доброго зерна, той бур'ян, який, дякуючи цілинні, буйно розрісся, заглушивши й ті рідкі парости зерна, що де-не-де попадались проміж ним. Але прийшов свій час і на бур'ян! Спостерігши гоїну поживу,

на нього понасіли поразити в лиці кафешантанних співачок і співунів, касирів, адміністраторів, діржерів і навіть главарів, з палестинського народу, директорів, антрепреньорів і режисьорів на взір Миколки-Загрібайла і Хохластого,—які між українськими штуками стали виставляти на московській уже мові, такі твори, як „Рабині веселля“, „Бедня овечкі“, „Куколка“ і інші, за які, як авторів, так і виконавців їх слід було б підвести під закон Лінча і повісити на одній осиці рядом. І от, на сам кінець, дякуючи всьому цьому і самий бур'ян зачучвірів і запоганів... Це так по мойому, а про те—не знаю. Ну, а за цим прощайте поки що,—спішу до дому. Побачимось на вокзалі: я приїду виражати вас!—зтиснувши руку Гораздовичу,—Рубан повернув у переулоч.



У дебаркадера стоїть поchtовий поїзд. На вокзалі метушня. Вигуки й говіря, виск тачок з багажем, паровозні посвисти, гуркотання товарових поїздів, сичання машин і чутне, звідкілясь то, скигління побитої собаки—все це мішається в один невиразний галас. Не дивлячись на те, що поїзд стоїть на станції більш ніж пів години, майже кожен з пасажирів кудись то поспішає, штовхається, кричить, як наче б то від цього залежало все його життя на далі!

Кінцевий вагон поїзду приваблює до себе особливу увагу всієї публіки. З одкритих його вікон чутно галас, крики й виспівуєму хором пісню.

— Отто задувають, дядьку Йване!—обертається до сивоусого селянина молодий хлопець у драній свитині, показуючи пальцем на вагон.—Хто воно такі не знаєте, дядьку?

— А біє його батька зна! Мабуть якісь кумедіянти... Ти бач, розгвалтувалися чорти! Лупонули, мабуть, на до-рогу!—зплюнувши заздрісно додав сивоусий дядько Йван.

Недалечко од вагона, що зацікавив публіку, опершись на грату дебаркадера, стояв оточений товаришами Рубан.

— Даремно ви, Виталію Никоноровичу, тікаєте від нас, — припалюючи од його цигарки, жалкував Пшецінський. — Ми так усі до вас привикли...

— Коли це ви встигли привикнути? Адже ж я всього-на-всього два місяці тільки й служив у вашій трупі... От хіба Хохлатий і Загрібайло тужитимуть по мені?

— Все ж таки, як не кажіть, хоч і два місяці... Та отверто кажучи, не такий уже поганий, справді, чоловік і Олексій Іванович. Правда, що й казати, єсть у нього свої погані сторони, але хто їх не має, я вас запитаю? З ним ще можна миритись... Взагалі ж він, по мойому, путній чоловік.

— От як казав вам, що в вас сангвинична натура, Пшецінський, — встряв Гораздович.

— З чого ж це видно?

— Та хоч би з вашої нестатечности. Сангвініки — то єсть люди нестатечні. От наприклад ви: не далі як учора, на чім світ стоїть, костили того ж Загрібайла; а сьогодні прийшли до тієї думки, що він навіть „путній чоловік“.

— Коли ви перестанете плести дурниці, пане Гораздович?

— Тоді, коли ви, пане Пшецінський, перестанете п'ячити і впадати від того в телячу умиленність.

— Пане Пшецінський! Давайте станемо в єльці на одній квартирі, хочете? — пропонував Харченко, що нараз з'явився звідкілясь. В одній руці в нього була тараня, а в другій загорнутий в якусь газету матроський картуз.

— Ні, спасибі вам! Ми вже порішили стати на квартирі з Гуцульським.

— Зовсім не розумно. При всьому вашому великому умі ви зробили, вибачайте, величезну дурницю! Ну що таке Гуцульський? Ні Богу свічка, ні чорту кочерга! А я..

— Що таке ви?

— Я—инша річ! Я прийшов до тієї думки, що ми самим Господом Богом создані для того, щоб доповнять одно'одно.

— З якого погляду?

— Та хоч би з погляду самого неминучого для нас обох. Ми б постановили з вами товариську умову на взаємній вірі, під девізою: „твоя закуска—моя горілка і навпаки“! Чудесно зажили б ми з вами!

— От те ж самонадійний осел! Бовкне яку небудь нісенітницю і думає, що тим самим виявив свій бистрий розум... Тьфу!—і Пшецінський одвернувся.

— Ну, ну, пане... перепрашаю! Прошу не турбуватись, бо від цього, кажуть, умні люди старіють, а дурні... дурні запоем п'ють. Ходім, краще, вип'єм!—і Харченко, ласкаво взявши Пшецінського під руку, повів його до буфета.

— А що ви думаєте? До дзвінка ще вистигнем!—заспокоївшись згодивсь пан Пшецінський, поглажуючи свої вуси.

— А що ж це Валентина Миколаєвна не приїхала попрощатись з нами?—обернувшись до Рубана пані Саломонська, смачно уплітаючи куплений в перекупки пиріг.—Хвора хіба, по звичаю?

— Ні нічого... Хвалити Бога в добрім здоров'ю мається,—нехотя одмовив Рубан.

— Так що ж вона негоди побоялась?—лукаво вже питає Саломонська.—Адже вона в вас така тендітна.

— То правда ваша. Почасти побоялась, тільки не негоди.

— А чого ж?

— Побоялась лишній раз почути сказану вами дурницю!—одрізав, повернувшись спиною до неї, Рубан.—Гораздович, ходітьте!

— Те ж освічена людина! Всіх неуками, дурнями взи-
ває,—а сам то що? Смаровізі!..- витираючи губи, кричить
вздогін йому ображена співачка.

— Виталію Никоноровичу!... Рубан!... Вита!...—кри-
чить, висунувшись на половину з вагонного вікна, зовсім
уже п'яний, Більський.—Зайди, братіку, в вагон, погладимо
дорожду і попрощаємось як слід! Або почекай, краще я
зараз вийду сам... підемо до буфета.

На платформі вагона почувся крик, котрий зараз же
перейшов у жіночий плач. Кличуть жандара. Очевидно
зчинився справжній бешкет. Незгода в погляді проміж Лю-
барченком і його супругою породила проміж ними на
стільки гострий інцидент, що для того, щоб його владнать,
неминуче було покликать станційного жандара. Вся пуб-
ліка стовпилась біля цікавого вагона. Можна було поду-
мать, що в ньому везуть дивовижних звірів.

Рубан зпершу пішов був до вагона, але потім, зупинив-
шись, махнув тільки рукою.

— Прощайте, Гораздович! Бажаю вам всього найкра-
щого, а найголовніше—вибитись скоріш на иніший шлях.
От вам малюнок!—додав він, указуючи на вагон, з плат-
форми котрого, разом з жандаром, виходила жінка Любар-
ченка, затуляючи рукою окровавлений свій вид.—Жанр
його—ви сами розумієте. От вам увесь моральний багаж
служників нашої рідної штуки!—скінчив він гірко, зтиску-
ючи руку товариша.—Прощайте!

— Не прощайте, а до побачення, Виталію Никоноро-
вичу! Передайте моє поважання Валентині Миколаєвні. Бог
дасть побачимося ще.

— Ну звичайно! Гора не сходиться з горою... Ну ще
раз до побачення!—і Рубан, поцілувавшись з Гораздови-
чем, спішно, не оглядаючись, пішов з вокзала.

Через пів місяця по приїзді в другий город, актьори і акторки „бувшої“ трупи Миколки-Загрібайла що дня набридали місцевому поліцмайстру найпокірнішим проханням: „зробить складку на виїзд трупи з города“. Антрепреньор після трьох представлень, захопивши касу, чкурнув нічним поїздом із города, зоставивши всю трупу, а разом з нею й режисьора, як кажуть „на волю Божу“.



Незвичайка метаморфоза.

Спектакль скінчився. Публіка, — поспішаючи, штовхаючись і раз-по-раз наступаючи один-одному на ноги, — валом повалила в вестібюль.

— Чекайте трохи, Борис Петрович, нехай пройдуть. Адже-ж спішить нам нікуди? — обернувся присадкуватий, з невеличкою лисиною і густою, підстриженою а la Boulange, борідкою, добродій, до високого чорнявого офіцера в артілерійській формі, що йшов поперед нього.

— І яка то справді дурниця ця оперетка! — зупинившись біля колони, немов би сам до себе, промовив офіцер, запалюючи цигарку.

— Це ви про сьогоднішню пієсу кажете? — зацікавивсь добродій з борідкою а la Boulangе, дивлячись по формі — інженер.

— Ні, взагалі жодна оперетка.

— Ну-у... це вже ви, мій голубе, аж надто прикро.

— Та яка-ж тут прикрість Болеслав Адамович? Адже-ж все в них казнащо: неймовірна фабула, де цвітошниці, пастушки, пастухи — немов-би то якимись чарами, — обертаяться в царевичів і королівен, і „венігретна“ музика, і кумедіянські фортелі актьорів і... огульно все!

— Що до музики і де-чого иншого — не знаю; ну а от що до фабули, — то вже не можна сказати, щоб вона була зовсім таки неймовірною, — не згодивсь з ним інженер, звернувши всю свою увагу на високу пані, що наближалася до них.

Розмова на хвилину перервалась.

Вродлива, шинарно зодягнена чорнявка літ 30-ти, йдучі

з театральної салі, порівнявшись з ними, осміхнулась і, кивнувши інженеру головою, пройшла далі. Зацікавлений, як здається, офіцер далеко провів її очима.

— Що, мій голубе... любуетесь? — штовхнувши злегенька в лікоть товариша, з усмішкою запитав інженер.

— Хто це така? — не одриваючи очей од тих дверей, куди пройшла красуня, в свою чергу запитав його артилерист.

— Баронеса фон-Шметцер. Дуже зайатна удівонька, скажу вам, котра, до речі будь сказано, може бути доводом тому, що опереткові фабули не завжди бувають безумовно — неймовірними.

— Це в яким же разумі прикажете прийнять Болеслав Адамович?

— А от, коли хочете, поїдемо в Grand'Hotel повечеряем, там я вам і поясню.

Трохи згодом приятелі сиділи в ресторані і, чекаючи на заказну вечерю, заїдали омаром випиті дві чарки коньяку.

— Адже ж правда, шикарна пані баронесса? га? — знов почав Болеслав Адамович, дивлячись з усмішкою на свою vis-a-vis.

— Еге-ж... промовив, замислившись, Борис Петрович.

— Ну хто б зміг подумати, щоб ця баронесса, така найпречудова пані, всього-на-всього якихсь там десяти років тому назад, була простісінькою Одаркою?

— Це б то як?

— А так, дуже просто: крестьянкою села Князівки, Дар'єю Якимовною Петренковою.

— Що ви за нісенітницю провадите? — знизав плечами артилерист.

— Ні, мій голубе, не нісенітниця я вам проважу, а коли хочете, то розказую чисто опереткову метаморфозу. Кажу вам знову, що та, що ви бачили, показна особа, десять років тому назад була простісінькою мужичкою!

— Ну-у... коли ви не шуткуєте, то це цікава сторія скажу вам...

— Котру вам не пошкодувало б знати, як будущому поміщику того повіту, в котрім знаходиться її маєток,— перебив його Болеслав Адамович.

— Ви думаєте? В таким разі я прохав би вас розказати мені про всю цю сторону докладно.

— З великою охотою! Слухайте Михайле,— обернувся він до прислужувавшого їм лакея,— дайте лиш нам ще омара і дві чарки коньяку, а з вечерею не дуже поспішайте.

Початок цієї сторії, як уже чулисте, був десять літ тому назад,— присовуючись ближче до столу, почав Болеслав Адамович. В перших числах травня, у слободу Князівку, — свій маєток,— приїхав з Петербурга, розгвинчений у всіх своїх снастях, барон Юрій Карлович фон-Шметцер. Приїхав він, по власному его виразу, набратись сили і трохи одпочити від клопоту і праці. Живучи у Петербурзі і належучи, не дивлячись на свої 47 років, до грона „золотої молоді“, Юрій Карлович стілько потратив своїх сил і так стомився, що коли-б не де-яка „реставрація“, котру він справляв над собою щоранку, то його б можна було сміливо взяти за пережившого вже вік свій діда. Ну, приїхав ото він у свій маєток, поновив хоромн і почав в них жити якимсь самітником: ні він ні до кого, ні до нього ніхто. Тільки й розваги було для нього, що стрелять у голубів, та де-коли проїхать в екіпажі по своїх маєтках.

Раз в одну з таких прогулянок несподівана гроза, котра застукала барона у заказному гаю, примусила його заїхати до лісника в сторожку. От звідциль саме і починається уся цікавість мого оповідання,— підкреслив свою річ Болеслав Адамович, запалюючи цигарку. Річ у тім, що у лісника тії сторожки, удівця Якіма, була дочка Одарка, красуня, скажу я вам, яких буває рідко!

— Це і в деяких романах завжди так розпочинається, — з усмішкою промовив офіцер.

— Як би там не було,—не звертаючи уваги на іронію, провадив далі Болеслав Адамович,—а барон все частіш і частіш почав навідуватись до лісника в сторожку. Придивившись до Одарки, він, як здається, прийшов до того переконання, що тільки вона одна, в тій глушині, зможе допомогти йому відпочити як слід і побільшить свої сили. Наслідом такого переконання було те, що через місяць сторожка старого Якіма цілком перемінилась. Перш усього вона була мало що не заново поновлена, після чого Юрій Карлович віддав наказ своєму управителю, щоб він, якомога, убрав її покраще. По силі такого наказу в великій, заново прибудованій до старої сторожки, кімнаті з'явилось дуже гарне умеблювання, а в кутку, в склянному поставці, красувавсь новенький самовар, оточений дуже гарним чайним сервізом.

Що до Одарки, то здавалось, що часті відвідування барона не були не милими для неї, так як помімо всього іншого, проміж простими перетнями, що допреж цього цяцькували її пальці,—з'явилось де-кілька дуже цінних золотих.

Кому були не до вподоби ці відвідування; так це старому Якимові, але поки що він все мовчав і зупиняв себе, хоч і поглядав инколи зкоса на приїздившого барона. Мовчав він більш від того, що боявся утерять таке забезпечення, яке давала йому служба лісника у заказному панському гаю.

— Ех, колиб не ця триклята служба, та не злидні наші,—потурих би я цього пана з сторожки так, що тільки п'ятами б цокотів!—частенько скаржився Яким, будучи під чаркою, своєму кумові, рибальці Софрону. А то от дивись на всі його „хокуси“ й не писни... бо зараздуть коліном!.. Ну... помовчу ще, подивлюсь, що далі буде?

На сам кінець мовчать вже більш було не можна, ува-

жаючи на ту небезпешність, якою погрожали Одарці вчашання барона.

Якось то раз, пізно вечером, вертаючись з обходу, старий Яким побачив такий малюнок, котрий відразу примусив его узять рішучі міри. Річ у тім, що проходячи поуз освічених вікон своєї сторожки, він ясно бачив як його дочка сиділа рядом з бароном, рука котрого лежала на її плечіх.

Яким, як тільки переступив через поріг, зараз же приступив до діла.

— Добри вечір, пане!—привітавсь він, вішаючи на стіну свою рушницю.

Несподіваний приход батька дуже засоромив Одарку; щож до барона, то його не так то легко було зтрівжити.

— Здрастуй, старина!—ласкаво одмовив він на привітання свого лісника. Як ся маєш? що нового?

— Та слава Богу, пане, живем потроху!.. І новина єсть: сьогондя просватав свою дочку,—указав він на Одарку.

— От як?.. Дуже радий!.. За кого ж то?—поцікавивсь збентежений барон.

— Та ви його не знаєте, пане... єсть тут у нас один парубок, Грицько Петренко прозивається.

Річ у тім, що той парубок, про котрого казав Яким, давно вже присватувавсь до його дочки, але старий усе вагався призвоити на це, маючи на увазі, що його будучому зятеві прийдеться йти в салдати. Під впливом же запримичених відносин проміж бароном і Одаркою, він зразу порішив не доводити діла „до гріха“, а скоріш „пристроїть“ її хоч би й за Грицька, а тільки „по закону“.

— Щож він хороший чоловік?—все більш і більш, цікавився барон. Молодий, вродливий?

— О, парубок, як то кажуть як орел! Одне горе—на цю осінь мабуть „забриють йому лоба“, бо—круглий сирота.

— Як це?

— А так: потягнуть у салдати!—пояснив Яким.

— Гм... це кепсько,—жалкував барон, а проте по його обличчю промайнула ледве примітна усмішка задоволення.

— Що поробиш, пане?— безпомічно розвів руками старий Яким.

В продовж усієї цієї розмови Одарка мовчки поралася коло самовара. Як здається те, про віщо казав батько, зовсім її не вразило.

— Ви Болеслав Адамович розкажете так, як наче самі були там,—промовив усміхаючись артилерист.

— Це, мій голубе, від того, що про все це я чув од самого Якіма. А про те, як що моє оповідання нецікаве, то я постараюсь його зкоротити...

— Ні, ні будьте ласкаві... навіщо ж то? Це я так, пошуткував,—поспішив перепроситись офіцер.

— Ну так от як би там не було,—почав знову інженер,—а тільки барон, несподівано для старого Якіма, на стільки близько взяв до серця те, про що сказав йому лісник, що пообіцяв навіть прийняти участь в дальшій судьбі новоженців. Тут я трохи зкорочу своє оповідання, бо в цім місці воно нічого цікавого не видає з себе. Скажу тільки, що в жовтні Одарка вийшла заміж за Грицька, а в грудні Грицько, в числі інших новобранців з України опинився аж у Казані.

Через пів року після цього умер і старий Яким. Зараз же після його смерти відносини проміж бароном і Одаркою зразу вияснились як на долоні. Почать з того, що на другий же місяць після смерти батька, красуня-салдатка з хати свого чоловіка перейшла жити в баронські горниці, зпершу, одначе, тільки як ключниця.

Прошло ще коло двох років—і ніхто-б уже не пізнав колишньої Одарки. Перш усього просте селянське убрання було змінено нею на панське, зшите по новій моді. Разом із зміною убрання змінилось мення й отчество її: замість

Одарки—з'явилась Дора Станіславовна. Дякуючи старанням нанятої бароном гувернантки, до цього зовсім неграмотна мужичка дуже добре тепер читала і писала. Коротко кажучи, отшліфовували її навспражне з усіх боків. Все це свідчило про те, що Юрій Карлович не шуткома зачарувався своєю цяцькою. Та й не диво! Разом з красою і природним умом у Дори Станіславовни,—я вже так тепер буду називать її,—об'явилися такі вдачі, яким позавидувала-б і більш значного роду особа. Помірно тому, як розвивались в неї ці вдачі, попавши на добрий для них ґрунт, збільшувалась і любов до неї Юрія Карловича. На сам кінець, кволий, одержимий усякими недугами, рано витратившийся з здоров'я, барон, зовсім не міг уже обійтись без свіжої, од котрої так і повівало здоров'ям, обмилуванної ним красуні. Він навіть не припускав до себе й думки про те, щоб ця пшшна, як троянда, молодиця коли небудь покинула його із якимсь то невизначним жахом згадував про ту хвилину, в яку повинен був з'явиться я коли небудь її законний чоловік. Нічого й казать про те, що найменші бажання Дори Станіславовни—були для нього як закон.

Нарешті, після чотирьох років своєї небутності з'явився в свої рідні палестини і Одарчин чоловік Грицько. Замість вайлуватого, хоч і вродливого, парубка, яким він був до служби,—в Князівку тройкою поштових приїхав стрункий красунь-вахмістр лейб'уланського гвардейського полка. Приїхав Грицько заранш уже завідомлений про все, а від того, не зайїхавши навіть у свою наглухо забиту, за відсутністю хазяйки, хату,—став у одного з своїх далекіх родичів. Чутка про його приїзд вмент прилітіла на панський двір.

Не дивлячись на те, що рано, а чи пізно, а треба було сподіватись, що Грицько все ж таки повернеться до дому,—барон одначе був страшенно цим збентежений, предчуваючи початок „канітелі“. Що ж до Дори Станіславовни, то, як здавалось, вона не дуже близько прийняла

до серця, стрівожившу барона, новину, цілком резонно до-
ручивши розібратись у всій цій справі закоханному в неї,
а від того, звичайно, більш усіх мавшого інтерес в ній,—
Юрію Карловичу.

Днів через три доносять барону, що його бажає бачити
„якийсь военний“. Догадуючись хто той „военний“, Юрій
Карлович, в першу хвилину, хотів вже був відмовити йому
в цім, але потім зміркувавши, що тепер, чи потім, а од
розмов „з якимсь военним“ йому однаково не утекти, по-
рішив довідатись мерщій про його погляд на цю справу, а
від того і приказав лакею провести його до себе в кабінет.

„Якийсь военний“, як тільки переступив через поріг,
відразу виявив себе бувалим чоловіком. Від колишнього
Грицька Петренка і сліду не зосталось! З першого ж сло-
ва своєї розмови з ним—барону стало ясным, що з таким
„гусем“ зовсім не легко буде уладнать це діло. На пер-
ших же порах виявилось, що сплатить йому за жінку гріш-
ми, було зовсім неможливим. Що почував Грицько до своєї
жінки, що так нахабно зрадила його,—про те ніхто не
знав; одначе замість усякої розмови з цього поводу, він
притьмом вимагав, щоб барон не держав її у себе, а не-
гайно вирядив її до нього, її законного супруга.

— Та як же ти, брат, военний, а не візьмеш собі в
толк того, що вона тебе не любе!—пробував урезонити його
барон.

— Ну... то не звісно.

— Та як же не звісно? Раз вона... зо мною, то зна-
чить, що вона тебе не любе!

— За те я її люблю,—байдуже промовив на таку ар-
гументацію супруг.

— Що ж ти будеш робить з нею, коли-б, навіть, вона
й пішла до тебе?—не до речі запитав барон.

— А це вже моє діло!—якось то загадково одмовив
вахмистр, прикро зиркнувши на нього. Яж вас не питаю
високоповажаний пане бароне, що ви робили з моєю жінкою
за всі чотири роки моєї відсутності?

Дякуючи тій формі, яку з самого початку прийняла розмова їх, в голові Юрія Карловича все поплуталось і він зовсім не міг приложити жадної ради за для того, щоб роз'язати це прокляте питання в бажанній для себе формі. Одне що він ясно тямив, так це те, що треба було притьмом віддалити срок розставання з Дорою Станіславовною.

— Знаєш що Григорій, — ласково почав він під впливом тії думки, — вся ця справа, як сам ти бачиш, така, що за один день її не уладнаєш. А від того я от що прирозумів: дамо один одному тиждень сроку. Ти добре обміркуєш все це діло і може таки прийдеш до тії думки, що моя пропозиція буде більш корисною за для тебе. Яж з свого боку розберусь як слід в нім і може зроблю по твоєму. Одним словом: тиждень сроку!

Перша їх розмова на цім скінчилась і вони розстались.

Після цього побачіння як у Юрія Карловича, так і у Грицьковій голові вертілося чимало комбінацій для того, щоб роз'язати цю мороку. Ща ж до Дори Станіславовни, то вона цілком рішила поводитися в цій справі по одному першому, на її думку, пляну. Вся суть у тім, що вона була твердо запевнена, що закоханий барон ні за що в світі не рішиться розлучитись з нею, а від того у неї в голові зародилася відважна думка притьмом примусити його узяти її за себе заміж. Питання її законного супруга, — вона цілком доручала роз'язати барону, котрий, опіраючись на свою великосвіцьку рідню й знайомства, — міг, на її думку, скінчить його в бажаннім значінні для неї.

На той час, як Юрій Карлович, після своєї розмови з Григорієм, почав заспокоювать „зтурбовану“, на його думку, Дору Станіславовну і цілуючи їй руки рішуче заявив що він, як би там не було, а здобуде за для неї окремний пачпорт, вона, вислухавши про все це, здивувала його такою відповіддю, якої він, у всякім разі, не сподівавсь від неї.

— Я дуже вдячна тобі за це, любий мій, але ж... я порішила все це скінчити,— томно промовила вона, випручуючи злегенька свої руки з рук барона.

— Як це „скінчити“?— запитав той, здивовано дивлячись на неї.

— Я порішила вернутися до нього... свого законного чоловіка.

— Що? до чоловіка? Та як же це так, люба моя? Що це ти вигадала? Під впливом чого з'явилась у тебе така... вибач мені будь ласка, така божевільна думка?!— закидав питаннями, стерявшись від несподіваністи, барон.

— Під впливом того, що мені, вже не під силу більше терпіти те непевне становище, в якому я пробувала до цих пір,— твердо одмовила Дора Станіславовна.

— Яке становище?

— Становище жінки, котра належить двом мужам... Розумієш? Не могу я цього!..

— Це б то вірніш: не хочеш ти того?— саркастично запитав барон.

— Ні, не „не хочу“, а прямисінько таки „не могу“... Від чого?— ви самі повинні про це зрозуміти, коли... коли я за для вас ще зразу, що небудь помимо... Ну, здається ви добре й самі розумієте про віщо хочу я сказати.

Цей офіціальний перехід на „ви“,— був певним застереженням Юрію Карловичу за його сарказм.

— Ну так як же бути в таких разі? що треба робить? все більше й більше зворушався, аж надто вже зтурбований, барон.

— Що небудь одно,— твердо заявила Дора Станіславова,— або я буду належать вам „по закону“, або ж на підставі того ж самого закону вернусь до нього!

— Це твое останнє слово?— немов би то увісні спитав барон.

— Останнє і не змінне!

Дора Станіславовна, як загонистий картяр, поставила на карту зразу все.

— Добре... дай мені подумать трохи... на три дні строку,—і приголомшений барон ледве вийшов з її кімнати.

Щастя грало в руку Дори Станіславовни: карта була дана! Юрій Карлович не скористувався навіть і трехденним строком. На другий же день після цього його управитель поїхав в город і повернувшись над вечір додому привіз з собою адвоката, ходака по всіх ділах барона, Петра Степановича Політакі, пронозливого грека, котрий був відомий на всю округу тим, що обладав найцікавішим секретом: з „нічого“ творити „все“ і навпаки.

Після того, як Юрій Карлович, розказавши йому про все, нарешті поставив питання, чи можна роз'єднати шлюб проміж Григорієм Петренком і Дорою Станіславовною так, щоб вона мала право удруге вийти заміж, Петро Степанович недовго примусив його нудитись непевністю: пройшовшись разів зо три по кабінету, він дав йому таку одмову, котра цілком заспокоїла аж надто стурбованного барона.

— У подібних справах неможливисти для мене не може бути, мій любий барон! весело заявив він, розпалюючи подану йому хазяїном дорогу цигару. У мене єсть на прикметі один чоловік, те ж „з аблакатів“, розумна, а найголовніше діло—пронозлива bestія!... Він підведе до нас на мотузочку того бичка Григорія,—а ми його на підставі закона і влущим по любові юридичним обухом! Завтра-ж вся ця машина піде в ход, треба тільки підмазати в ній, як слід, всі снасті, щоб не рипіли.

Після цього, розмовляючи з Григорієм удруге, барон рішуче заявив йому, що Дора Станіславовна, чи по його Одарка, залишила й думку жити з ним укупі, а від того і йти до нього і навіть бачити його,---зовсім не бажає.

— В таких разі я буду скаржитись у суд!—спробував було налякати супруг.

— Ну це вже як тобі завгодно буде,—холодно завважив на це барон. Значить нам тепер і балакати більш ніобчій,—промовив він, піднявшись з кресла.

На цьому і скінчилась остання їх розмова.

— Через тиждень машина, про котру говорив барону Політакі, була пущена ним в ход.

Після Останньої своєї розмови з Юрієм Карловичем, Григорій поїхав в город щоб знайти собі такого ходака, котрий би установив його права на жінку. Будучи трохи вже навиклим, він дуже розумів, що як йому самому розпочать цю справу, то вперше через те, що він не знав законів, а вдруге через те, що барон був дуже значною парсоною,—не скоро можна було сподивадися на те, щоб вона скінчилась в його пользу. Уважаючи на це, він порішив краще заплатити пуньому адвокату і вести цю справу вже „на вірняка“. Овсій, машталір барона, котрий лічивсь в числі давніх його приятелів, научений ким слід, немов би то жаліючи, направив його до одного такого адвоката, „мастака“ в жодних справах. Оцей то „мастак“ і був той самий „чоловік“ про котрого казав барону Політакі—Іван Юхимович Гузирський, або ж просто, як звали його клієнт-мужички—Сіпайло. Звичайно нічого й казати про те, що Сіпайло був заранш упрежденний вже паном Політакою і день кріз день ждав до себе цікавого клієнта. Прийшовши до цього, рекомендованого Овсієм, адвоката, Григорій на перших же порах був так ним зачарований, що йому здалося, що він вперше на віку уздрів таку людину. Іван Юхимович показавсь йому на стільки звичайним і делікатним, на стільки порядним і чесним чоловіком і так бунтувавсь проти непутящого вчинку з ним барона і його жінки, що недосвідний в адвокатських заходах Григорій сразу і цілком віддав себе до рук свого будущего заступника. На сам кінець, коли скінчили вже умову за гонорар, Сіпайло на обруб заявив, що він візьме умовлену плату тоді тільки, коли вигра цю справу; до тих же пір він вважає за обов'язок вести її на свій кошт. Цей фортель цілком запевнив Григорія у тім, що порекомендований йому адвокат не тільки що „мастак“, а ледве, навіть, не свята

людина і він тут же ще раз порішив не суперечити йому ні в чім.

Трохи згодом, розібравшись як слід у дорученній йому справі, Іван Юхимович обернувся до свого клієнта з такою пропозицією.

— Знаєте що Григорій Тимофієвич? На мою думку здається так, що тут на місці,—ми своєї справи, скоро і як слід, не оборуємо.

— Від чого ж то?

— З різного powodu. Перш усього через те, що барон занадто сильна тут парсона і звичайно буде становиться нам, де слід, на перешкоді; а від того наші заяви, прозьби, домагання і взагалі всі клопоти—довго будуть „гласом вопіючого в пустині“!

— Так щож ми проти цього маємо робить?

— На мою думку нам треба їхати в губерню і там уже по довіренності від вас я попробую повести цю справу, надзвичайно, не з низчої, а з висчої інстанції і як що побачим неминучість цього,—то ми з вами обернемось прямисінько до губернатора і особисто виясним йому всю ту ганебну роль, яку грає у всій цій справі пан барон.

— От цього вже я й не розумію... Щож тут вияснять коли все це діло ясно видно, як на долоні?—недомислявсь Григорій.

— Вибачайте Григорій Тимофієвич, але ви, як здається чоловік зовсім недосвідний в судейських справах. Щож ви думаєте, що вони, себто наші супротивники, будуть сидить згорнувши руки, чекаючи на те, поки ми припрєм їх до стіни? Завіряю вас, що вони запевне вже розпочали свою справу, щоб виправити для вашої супруги свідоцтво на окремний побут, а для того щоб цього добути їм треба визначити вас у такому виді, щоб сумісне життя ваше з жінкою,—було за для неї неможливим! Зрозуміли ви тепер цю штуку?

Коротко кажучи наслідом такої розмови проміж адвокатом і його довіртелем було те, що днів через чотири піс-

ля цього вони обидва разом поїхали у свій губернський город.

Приїхавши туди, Іван Юхимович так добре, по його словах, повів всю справу, що не далі як через тиждень вона мала прийняти таку форму, котра примусить їх супротивників признати своє безсилля і уступитися. Уважаючи на це, він так собі злегенька проговоривсь про те, що слід булоб хоч трохи „покропити“ початок так зручно поведеної під супротивників міни. Клієнт, на радощах, сам був не від того і справив в гостинниці у своїому номері справжню гулянку.

Пізно вечером, коли Григорій був уже на другому, як кажуть, зводі, услужливий лакей „для різноманітності в кому панії“ напросився привести до них у номер „розвеселити штучку“. Іван Юхимович пропозицію лакея прийняв з охотою; через що не далі як через пів години гуляння йшла вже *in troi* і, дякуючи присутності „штучки“, чим далі йшла *crescendo* і *crescendo*. Опівночі, як Григорій, так і приведена лакеєм молодиця—були вже зовсім п'яні.

Діждавшись поки клієнт, упавши на кровать, захріп, Іван Юхимович підвівся з місця і, спішно одягаючи пальто, почав прощатись з кунявшою на канапці, з погаслою цигаркою в зубах, розпатлавою молодичею.

— Ну, до зобачіння моє золото! Зоставайтесь тут хазяйкою. Тільки роздягніть його, будь ласка,—а я піду.... Страшенно голова тріщить! Як що прокинеться Григорій Тимофійович, то скажете йому, що я завтра ранком забіжу до нього. Ну, моє шанування! Не забудьте замкнуть за мною двері, а то як заснете, то забереться ще хто небудь в номер,—додав він будучи вже на порозі.

Не більш як через годину після цього до освіченого ганку гостинниці разом підкстили два пароконних фаетони. На одному з них сидів Петро Степанович Політакі з полицейським приставом, а на другому—два якихсь полупанки і поліціант. Вся ця кумпанія, вилізши з екіпажів

направилась прямисінько в той коридор де знаходивсь номер занятий Петренком.

Підійшовши до дверей, пристав постукав в них ручкою своєї шаблі і потребував, щоб одімкнули. В відповідь на це з номера почувся хриплий жіночий голос, пославший того, хто стукав, „під три чорти“! Начальство пригримнуло і погрозило зламать замок. Погроза мала силу і через хвилину в розкритих навстяж дверях, неначе в рямі, з'явилась „розвесела штука“ в такім „шаленнім“ *deshabille*, що один з двох приїхавших полупанків—„свідків“, горбатенький дідусь в срібних окулярах, навіть заплющив очі на яку хвилину...

Пристав і всі, що з ним приїхали—увійшли в номер. Роздягнений молодницею Григорій спав, зарившись у пудушки головою і з великим трудом розбурканий, тільки очима лупав, цілком не зрозуміючи того, що перед ним твориться?

А творилась у номері цікава по своїй незвичайності оказія: складався протокол „о прелюбодіянії Григорія Петренка з удовою міщанина Ганною Пилипчуковою“.

Факт був на лице і все було зформовано не більш, як в пів години. Неосудний винуватець всії ції оказії Григорій, аби тільки здихатись скоріше бучі,—те ж підмахнув своє мення й прозвище під протоколом.

Після цього кумпанія на чолі з Петром Степановичем Політакою, зробивши все що слід, вийшла з номера, ласкаво побажавши Григорію Тимофієвичу і його випадковій подрузі на добра ніч.

Незабаром після цього Дора Станіславовна, через свого адвоката Політакі розпочала прецес о розводі її з Григорієм Петренком; мотивом до цього було його засвідчене прелюбодійство.

Справа була так „чисто“ обородована, що весь процес скінчився мало що не за пів року.

Зараз же по скінченні процесу Дора Станіславовна вийшла заміж за Георгія Карловича і зовсім вже, *de jure*, обернулась в баронесу фон-Щметцер.

Років через чотири після того, барон вирядивсь *ad patres*, покинувши баронесу з двома дітьми справжньою хазяйкою всього движимого і недвижимого. Пробували було де-хто з родичів барона встряць в це діло, бажаючи увірвати де-що й на свою долю,—але нічого не вийшло: всі справи, за котрі брався Петро Степанович Політакі він обробляв так добре, що „комарь носа не подточет“, по власному його виразу.

От вам і незвичайна, чисто опереткова, метаморфоза, голубе мій сивий!—скінчив своє оповідання Болеслав Адамович.

— А що ж той... як його?.. бувший супруг баронеси?
—зацікавивсь офіцер.

— Григорій?—по китайському помстився над жінкою й бароном.

— Як це по китайському?

— А так... Зараз після того, як їх звінчали, повісився в баронському саду на дереві, як раз перед верандою дома!—якось то байдуже промовив інженер, присовуючи до себе принесену лакеєм страву.



В л і с і.

Окутаний весь чисто пилюгою, дорожний візок, під назвиськом „тарантаса“, брязкаючи розгвинченими своїми снастями вкотивсь, на сам кінець, під привітну затінь заказного гранського лісу.

— Трр... тпру!—натягуючи злегенька віжки, тонісіньким фальцетом подав голос, сидівший з правого боку тарантаса, шаршавий чоловічок в казінетовому „спінджаку“.

Тюпавша до цих пір по інерції, дякуючи згористій дорозі, коричнява шкапина, з обрізаним ухом і обтріваним по саму ріпицю хвостом,—вмент стала, як укопана, так, що „з чужого плеча хомут“ насунувсь їй на саме тім'я.

— Ну-ну... ти насікома! Розманіжилась, зовсім вже хоч на спокій рада? Н-но!..—і чоловічок, розмахнувшись, хвацько шмагонув її батігом під саме черево.

„Насікома“, невстигши від несподіванності навіть хвостом од'ясувати на таку ввічливість, сіпонула зразу так, що, сидівший з лівого боку, батюшка ледве не перекинувся через спину назад з тарантаса.

— Та вгамуйсь таки, Остафій! Перестань ти її хвосткати!.. Ну тай Ирод же ти... Ніякісінького жалю тема в тебе до животини!—прикро обернувся він до сидівшого збоку чоловічка.

— Ну, а по вашому то як же, Отець Панкратій, залицяться я до неї мушу, чи як? Може скажете ще шапку перед нею знять, та вклониться низенько, щоб вона зволила тягнути нас далі?—розсудно міркував Остафій, насовуючи на лоба солом'яний свій бриль.

— Я покладаю так, що можна й віжками заставить її йти... А ти зараз же лупить скотину, мов той циган!

— На те вона й скотина,—байдуже промовив Остафій, оглажуючи свою руденьку, стирчавшу кушиком, борідку.— Ех отець Панкратій! Жалощів у вас аж надто вже багато не тільки, скажем, до чоловіка, але навіть до кожної, можна сказати, тварі,—додав він трохи згодом, якимось то погордливо озираючи панотця своїми мутно-блакитними, підсліпими очима.

— „Блажен чоловік, іже і скоти милує“,—ти знаєш це, чи ні?—сентенціозно замітив батюшка.

„Насікома“, прислухаючись, мабуть, до розмови, зовсім забула про батіг і ледве переступала з ноги-на-ногу, так що Остафій знов було підняв над нею озброєну ним руку.

— Знов за своє?—Н-но, анахтема!.. А то я тебе так „рразутюжу!...“

Але готова до „разутюжки“ рука вперу була зупинена отцем Панкратієм.

— Та годіж, кажуть тобі, осикова голово!—пригримнув батюшка, у котрого увірвавсь таки терпець.—От ти таки, Ироде, діждешся, що я тебе вилаю як саму нікчемну скотиняку! Як єсть, простісінський таки пеньок, слова людського не розуміє!—вилаявсь отець Панкратій і, знявши старенький поруділий вовняний бриль, витер кратчатою хусткою своє голе тім'я.

Остафій, якимось то раптом повернувшись до панотця, наваживсь, мабуть, суперечить і тим самим доказати, що він, хоч і пеньок з осиковою головою, а про те всеж таки свою „амбіцію“ має, як і інші.

— Ну чого вертишся?—суворо глянув на нього отець Панкратій.

— Нічого! похмурившись залишив свій замір Остафій. Кинувши затим батіг під передок і перекинувши через коліно віжки, він ліниво почав крутити цигарку, таскаючи пучками тютюну для неї просто з бокової кешені свого „спінджака“.

Повстала павза.

Отець Панкратій, позіхаючи від жару, меланхолічно поглажував рукою свою ріденьку сиву борідку, в один і той-же час відганяючи нею і дим од цгарки і уїдливого овода, наважившогося розвідати з усіх боків його грубий, схожий на картоплю, ніс.

Збентежений Остафій, похнюпившись, кури́в. Придивившись, можна було запримітити надзвичайну, по своїй оригінальності, його маніру у цім ділі. Затягнувшись, при-мірно димом, він випускав його не зразу, а трьома нападами, тримаючись при цьому кожний раз якоїсь то, строго виразної, послідовності. Зпершу, надувши щоку, пускав він його з рота вправо, запліщуючи при цьому ліве око, потім навпаки, (що справляло відмінну приємність, сидівшому ліворуч, отцю Панкратію), і, на сам кінець, підвівши брови і зкосивши очі на самий кінчик носа, випускав решту в обидві ніздрі зразу.

Батьюшка і Остафій деякий час уперто мовчали, думаючи кожен про одне і теж, хоч і в різнім напрямі. Річ у тім, що отець Панкратій, як головний розпорядник будівлі церковно-приходської школи в своєму селі, думав як би подешевши та повжитошніш придбати потрібний для цього лісовий матерьял, за покупкою якого й їхали вони з Остафієм. Остафій же, як рядчик по теслярській часті, посланий громадою з батьюшкою за свідомого в цьому ділі чоловіка, міркував про те, скільки він зде́ре „на могорич“ з тих купців, у котрих вони закуплять цей матерьял.

— „Снісаренко дасть карбованців по три од кожного купленого в нього коріня,—розмишляв він, пускаючи тонкий звій диму вправо,—це так же вірно, як Бог свят!— а от як що прийдеться купити у Никанорки, той, чого до-брого, обдурить, ракалія! З тим треба тонко политику вести, бо то такий суціга, що батька рідного за копійку під обух, анахтема, підставе!—подумки застерігав він сам себе, пускаючи димок уліво. Ну, та ми теж не в дурнях

зімували, нас на полову не піймаеш... Маттері чорта!..“— голосно бовкнув він, на сам кінець, помімо воді, занесшись думками своїми до того, що забув навіть про те, що поруч з ним сидів не Никанорка, а панотець, плававший у своїх мріях также, як і він.

— Що таке?—спитав, здригнувши від несподіванності отець Панкратій.

— Гм... Та це я так... про своє!—промовив засоромившись Остафій.—Н-но, ти! Прислухаєшься, „сволоч!“— раптом крикнув він на ледве переступавшу з ноги-на-ногу шакапину і, прожогом нагнувшись до передка, хотів дістать звідти схований батіг.

„Насікома“, запримітивши цю штуку, мов опечена смикнула тарантас, не чекаючи на цей раз доки неугомонний рядчик „розутюжить“ її сухопарі боки. Отець Панкратій знов прийшовся спиною об залізний прут задка, що вікликало з його боку нову догану Ироду-Остафію.

— І що у тебе за анафемський свербіж в руках, Остафій? Так як наче, прости Боже, який чортяка за жили тебе смика! Отже ти таки звихнеш мені сьогодні поясницю, Іскаріот!

— А ви, отець Панкратій, посуньтесь трошки нижче, геть подалі од задка,—винувато порадив батюшці Остафій.—Прироблять же, діяволи, таку штуку... Тьфу!—сердито сплюнув він, поглажуючи рукою завдававший панотцю турбацію залізний прут.

— А як на твою думку, Остафій, обдеруть нас купці за ліс, га?—трохи згодом обернувся заспокоєний отець Панкратій до рядчика, бажаючи поділитись з ним, цілу дорогу недававшю йому покою, думкою.

— Ну-да... „ето диствительно“ що мабуть обдеруть,—сплюнувши кріз зуби, поважно промовив Остафій. Вся заковика тут у тім, що продажний ліс єсть тепер тільки у двох купців: у Свісаренка та у Никонорки Гайдамаки; а через те, як що будем „разсуждать, примерно, по комер-

чецьки“, то обідрать нас для них буде самий „полний резонт!“ Будем говорить так, що як що знайдем підхожий для нас матерьял у Снісаренка,—розвивав свою думку Остафій,—то ще так-сяк, бо він хоч і „первеючий жулик“, а до церковних справ чоловік дуже прихильний і духовенство поважає... Йому як що так знаєте підпустить словесами з божественного, то він подасться; а от як що напоремось на Никонорку, н-ну, той вже обчистить нас по всіх правилах, з карамболями! Бо його, знаєте, ні божественним, ні чортівнею не дошкулиш. То, можна сказати, справжній, „хвактический“ ракло!.. Батька рідного за копійку на шибеницю поведе!

— Та-а-к...—непевно протягнув отець Панкратій.—Це кепсько.

— На біса й хуже!—байдуже підтвердив Остафій, одгризуючи кінчик витягнутої із під себе соломини.—А всеж таки, батюшка, я ніяк не можу взяти собі в толк одного „хвакта“: що вам за схота більше всіх турбуватися об цьому?—колупаючи соломиную в зубах, запитав він трохи згодом отця Панкратія. Цілісіньку дорогу ви все клопочитесь про те, як би то дешевше купить ліс на школу? Як наче ви їдете купувати цей самий ліс собі на дом, або ще на яке хазийство... Адже ж школа то діло громадське.

— Ну, а як громадське, то як же по твоєму?

— А так, що коли це діло громадське, то, стало быть і гроші громадські, а не ваші... От що!

— По твоєму виходить, що коли гроші не твої, а громадські, то й шпурляй ними на всі заставки, направо і наліво! Так, чи що?

— „Диствительно, верно!“ Якого я чорта, примірно, буду побиватися за ними? Та як що я й вигадую яку там ни на есть ту копійчину, то щож вона у мою кешеню попаде, чи що? Як же чорта пухлого! Або може громада подякує мені за мою дбалість про її добро? Як же паф... Дулю з маком дістанеш' за все своє старання, от

що! Знаєм ми їх! Та будем говорити ще й так, що колиб я через свої клопоти і зберіг якуб там копійчину, то другий її сцупить. На громадську копійку ой-ой-ой... до чор-та ласих!

— Ач який ти птах!— з непевністю замітив отець Панкратій. Аджеж кожна та громадська копійчина трудом, потом дістається, а од того, хоч вона і не твоя, а ти всеж таки не маєш права тринькати і шпурлятися нею! Ти мусиш обережно відноситись до неї, а не то що...

— Ех, отець Панкратій, вибачайте, що скажу вам... бо-о... будем говорити відкрито... коли у чоловіка таке поняття, то... він далеко не піде... От через таке то поняття ви й живете так!—рішуче скінчив Остафій свою, непевно розпочату, промову.

— Цеб то як?

— А так!.. От ви, отець Панкратій, ерей, та й не ерей, а навіть протоерей, а носите замість підрясника таку не вам кажучи, хламиду; замість пристойного ерейського бриля, якийсь то неподобний висхлий лопух; та й їздите по цих самих громадських ділах не в екипажі, а в якісь то, вибачте в цім слові, чортопхайці, котра у незвиклого до неї чоловіка все нутро на виверт переверне!.. А вже що про домові ваші справи,—то й казати нічого.

— Та-ак... Ну, а од чогож це ти, по своєму розумінню, не багатієш?—дивлячись з усмішкою на свого розмовника, запитав отець Панкратій.

— Од чого?—перепитав Остафій. Од того, що моя лінія зовсім у другий бік пішла. Мені такого розвороту, як вам, ні за що не доручать. А головніша річ у тім, що горлянка моя не дозволя мені цього, бо виходить так: що сьогодні збережу—те завтра „монополька“ до тла все злопа... Еге-ге!.. Будь у мене хоч на крихту більше здержки од того клятого „спиртуоза“, та доручи мені громада розпорядок, хоч би над такою будівлею, яку доручила вона вам... Фю-ю-юїть!.. засвістів він, змахнувши до гори ру-

кою,—я-б зразу піднявся вгору вище лісу цього стоячого!

— Це яким же маніром?—зацікавивсь отець Панкратій.

А так... дуже просто, скажу вам! Я-б повів таку економію, що збудувавши їм як слід, ту школу, і для себе, хоч начорно, хатинку б збив.

— Це б то стяжав деяку толіку?

— Що таке?—спитав, не розібравши, Остафій.

— Я кажу, украв би?—пояснив отець Панкратій.

— Ех, отець Панкратій! Скажіть мені на милость Божу, що по своїй суті означає слово це: „украв“? Аджеж, як що казати по совісти, то й крадіж крадіжу буває різний! Вся суть у тім: що, скільки і у кого украсти? Скажу вам про себе: украсти, приміром будучи сказати, у вас що небудь, у мене б, чого доброго й рука не налягла. Бо це був би гріх, та ще й великий, так як ви самі, можна сказати, чоловік недостатній. А от коли-б мені підвернулась під руку така okazія, щоб потягти у його сіятельства грапа Шереметева, примірно, тисячину або й дві,—продовжав розвивати свою філософію Остафій,—то покарай мене Цариця Небесна на цім самім місці,—урочисто перехрестивсь він,—не зморгнувши оком свиснув би! От що!

— По твоєму, то тут і гріха б ніякого не було?

— Та який же тут гріх дозвольте вас спитать? А як що й був би він, то не більше макової ріски! Ви тільки візьміть собі в толк, отець Панкратій, такого сорту хвакт: скільки есть у грапа цих самих тисячів? га? Аджеж він їм давно вже, мабуть, і лік сторяв! Оце недавно в волості Дончак Митро Осипович читав в газеті, що грап за одну якусь то там, кумедію, що відігралася в його дворці, сто тисяч вбухав!.. Га?.. Як це вам здається, отець Панкратій? За кумедію, що діавола потішив, сто тисяч чисто ганчиком! А мені гріх би був, по вашому, за те, що я потягнув у його за для свого обіходу яку небудь „тися-

чонку?..“ Ні, вибачайте, чорта пухлого за це! Н-но, ти, хрукта! Заблудила? От я тобі всиплю порцію, анахтема!— і Остафій, запам'ятавши батюшчин наказ, всипав такі порцію „насікомій“ за те, що вона проминула зворот уліво.

— Знов хлиськаеш?—якось то безнадійно замітив отець Панкратій.

— Та коли-ж вона дороги своєї не знає,—на цей раз вже винувато виправлявся Остафій. Н-но, повертайся, чортова „шарманка!“—натягнув він ліву віжку. Гріха з тобою не оберешся!

Але „шарманка“, котрій осточортіла вже мабуть така шана, завертіла, як млинок, хвостом, пригнула голову до дуги і тупаючи передніми ногами, порішила вчинить протест і стала мов укопана, не бажаючи звертати з дороги.

— Фю-ю-юють... От тобі й „дистанція!“—присвиснув Остафій. Так ти ще й хвокуси показувать? От яж тебе ублажу, анахтема!

На щастя „насікомій“ отець Панкратій управивсь якось то вхопить батіг у свої руки.

— Устань таки, idol ти чавунний!.. Устань, та проводи її... Аджеж ти її засмикав так, що вона не тільки дороги, а й світу Божого не баче!—знов розгнівався отець Панкратій.

— Тендітна яка, диявол!.. Її тепер, чого доброго, і з місця не зіпхнеш,—бубонів Остафій, вилазючи з тарантаса. Тпру, тпру!.. чпш...—солоденьким фальцетом заспокоював він торопко поглядавшу на нього шкапу.—Не бійсь, не бійсь, „насікома“, качай уліво!—поглажуючи долонею по морді, виводив він її на просіку, що тяглась уліво од дороги. —Ну, тепер скоро кінець нашій дорозі,—оповістив він батюшку, зскакуючи на ходу у тарантас. А до кого-ж перш поїдем, отець Панкратій? Я думаю так, що заїдем зараз до Снісаренка. Коли він, на ваше щастя, та буде у п'яному образі, то ви його словесами з священного писанія

швидко. уломаєте! Бо дуже він у такому образі жалісливий до Бога буває!

— Ну, щож, поїдем до Снісаренка, — згодивсь батюшка. — Охо-хо-хо! Скільки-ж то прийдеться грошей громадських розтринькати! — зітхнув він.

— Як що купим у Снісаренка, то не біда ще, — заспокоював Остафій. — А от як попадемя в лапи до Никонорки, н-ну, тоді лабет! Він нас оголить краще, ніж цыгана цилюрник... Ох, і trianaхтема ж він, цей самий Никонорка! Вірете, отець Панкратій, хворменний ракло, „подлець!“

З Поляни, що була видна кріз просіку, доносивсь визг вигострюванної терпугом пилки, стук сокири і инколи людська розмова. Уліво од просіки, у самій гущині лісу, ліниво виводила свої рулади ивільга. Йй, мабуть, було так же душно, як і отцю Панкратію з Остафієм, раз-по-раз утиравших собі лоба, — один кратчатю хусткою, другий, — прямо долонею.

На виїзді на поляну, дорогу припинав, недавно зрубаний, упавший як раз впоперек просіки, величезний дуб.

— Чшш... тпру! — натягуючи злегенька віжки, зупинив Остафій шкапу. Ну, вилазьте отець Панкратій, — запросив він панотця, зскочивши з тарантаса, — відціль підем піхтурою, тут вже не далеко, — поясняв він, замотуючи віжки за стримівший в передку тарантаса залізний прут.

Отець Панкратій, злізши з тарантаса з зацікавленням розглядав величезну цівку зрубленого лісового велитня.

— Хо-хо-хо!... От махина, так махина... ну й махина ж... — приказував він раз-у-раз, доляпуючи долонею, досягавший майже в рівень до його грудей дубовий кряж.

— От би, батюшка, нам з десяток таких одороблів залучить! — виказав свою думку Остафій, випрягаючи одганявшу оводів шкапину. — Стій, ти... розтанцювалась! — штовхонував він її ногою в черево.

— Куди вже там з нашими грішми, — безнадійно махнув рукою, запримітивши його, вчинек з „насікомю“

отець Панкратій. За таку махину не менш півсотні загерують.

— Що-?... півсотні?!... Ц-ц-ц...—зацмокав Остафій. Ну та й дешевий же який ви, отець Панкратій. Та за таку махину й сотнягу одвалить не жалко! Тільки тепер вже дурні попереводились на світі... Ви роздивіться краще: в ньому до двадцяти п'яти четвертей в обіймі буде. Тут одного „швирка“ з віття сажень до трех набереться... а цівок? а отрош?... А ви кажете півсотні? Чорта пухлого такого буйвола за півсотні купиш! Ну, ти, ступай-ка на прогулянку!—в закінчення всього обернувся він до спутаної шкапини, всипавши таки їй на прощання „порцію“ піднятим на просіці ліщиновим прутом. „Насікома“ підскачовши спутаними передніми ногами і зробивши хвостом круг, пірнула в гущавину горішника, а Остафій з отцем Панкратієм, обійшовши навкруг зрубаного дуба, вийшли на поляну.

Поляна, десятин з п'ятнадцять обширом, мала з себе такий вид, як наче б то загальний хижака-чоловік, дірвавшись, немов би вовк той до отари, в самісіньку середину вікового лісу, безладно спішить мерщій як можна більш загубити сотні літ стоявших велитнів. Деякі з них, на манір перепенившого дорогу дуба, цілком лежали ще у розкидь по поляні, витягшись на весь свій велетенський зріст. Здавалося, що це не дерева лежали, а ті легендарні велетні із казки, що збив їх ворог в лютий січі. Їх зломане, глибоко зарите в ґрунті віття, здавалося за руки, котрими вони, в передсмертних муках, вчепилися в могутні рідні груди матері-землі, немов шукаючи у неї оборони од страшного, хоч і мизерного, царя природи—чоловіка. Другі, з обрубаним віттям, були порізані уже на часті; їх величезні кряжі де-які були в корі ще, а де-які уже обтісані і зготовлені до пильні. То там, то тут,—врозкидь по поляні,—де-не-де стояли, поки що, побратими павших. Їх зелене верхів'я пишно ще здіймалось вгору,—але стукотнява сокир, визк пилок і сновигавші під ними по поляні люде, ясно говорили, що руйнування ще не скінчено, а

буде скінчено тоді, коли останній з цих стоячих велитнів вершиною своєю паде до долу. Всі ці могутні велитні дуби, стрункі ясені і клени,—останні з могикан на одведенім до зрубу вчастку,—вселяли до себе ще більший жаль, а ніж зрубані, розкидані по всій поляні, їх товариші: ті вже пали, а цим, цвітущим, мавшим за собою довгий вік, загрожувала доля пасти.

Збурований ґрунт, притоптана трава, петрощені кущи ліщини і вивернуті з корінням пеньки,—все свідчило про те, що тут недавно тільки зкоївся розбишацький вчинок чоловіка над природою. У самому куточку поляни, вся оповита листям, стояла липа, з кучерявим похиленим верхком: здавалось, що тільки перед цим вона вклонялась і, схиляючись, немов би то застигла в своїй позі, благаючи милосердя в сидівших в її затінку, за полуднем, людей.

Отець Панкратій і Остафій, вийшовши на поляну, оглянулись і направились до двох, розпилювавших кряжі, мужиків.

— Пархоме, дивись—адже ж то отець Панкратій од Пречистої з Осташкою?—кинувши роботу, обернувся стоявший передом до них, високий худорлявий бородач, в білій, на випуск, полотняній сорочці, підперезаний ликом, до свого товариша, молодого парубка у подертій квітчастій камзіольці.

— Ну що ж...—байдуже промовив, не обертаючись, парубок.

— Сюди йдуть,—знов промовив бородач, осмикуючи сорочку. Це вони, мабуть, за деревом до Павла Мосієвича,—міркував він, витираючи спущеним рукавом сорочки свій мокрий лоб. Ну й грошви ж він загребе у цьому році—силу! Шутка сказати: п'ятнадцять ділянок увірвав на свою долю!

— Еге ж... Ошукав товстопузий чорт своїх товаришів і всю покупку на себе одного зробив!—сердито замітив парубок.

— Степа-а-не!..—почувсь із за кущів жіночий голос.

— Чого тобі?!—озвався бородач.

— Куди ти поставив кубишку з водою?..

— Там пошукай у липовому куці!

Вискочивший з під стоявшого неподалеку воза худий, муругий цуцик, з об'їденими мухами ушима, кинувся на підходивших батюшку з Остафієм і залився в такий голос, як наче-б то йому ущемили чимсь то хвіст.

— Пішов!.. Щоб ти йому здох треклятий!—крикнув Пархом, жбурнувши в нього піднятим сучком. Цуцик жалібно завищав і, підгорнувши хвіст, знов заховавсь під віз.

— Добридень, братці!—привітавсь підійшовши, отець Панкратій. Час добрий вам!

Остафій мовчки пересунув з потилиці на лоб свій бриль.

— Спасибі, батюшка!—одмовив Степан і урочисто направився до нього під благословіння, витираючи рукою на ходу свій рот. Слідком за ним підійшов і Пархом, запам'ятавши, мабуть, знять свій білий, до краю засмальцьований, старий картуз. Отець Панкратій не звернув на це уваги, за те Остафій не стерпів, щоб не виказати парубкові докору.

— Та „кивер“ зняв би свій, чортів бовдур! Адже ж ти під благословіння до священної особи підходиш, бісів „ефіоп“!.. Е-е-ех ти... „животній“!

— Остафій, вгомонися!...—тихо замітив йому батюшка.

Пархом, скинувши на нього неприязний погляд, мовчки підійшов до воза і почав чогось шукать на ньому.

— А що Павло Мосієвич тут?—запитав отець Панкратій, стоявшого з пошаною перед ним, Степана.

— Тут, тут, паночо. Вони, мабуть, там у хаті спочивають,—неясно кивнув він рукою.

— Ну, а як же б до нього дійти, спитав батюшка?—опускаючись на стоявший збоку пень.

— Це можна... Гапко!.. Гапко-о!.. — крикнув він представивши долоню до щок:

— А гов!.. — почувсь із-за кущів тонесенький дитячий голос

— Біжи мерщій сюди! От вона вас, батюшка, проведе.

— А що, братухо, не знаєш, єсть у Павла Мосієвича дубки на продаж? — спитав трохи згодом отець Панкратій.

— Де ж пак нема? єсть! Ого-го скільки навернуто матерьялу—сила! — зажмуривши очі, якось то безнадійно махнув рукою Степан. У них у двох тільки й є все, що кому треба...

— У кого це „в них“? — зацікавився Остафій.

— У них... у Павла Мосієвича та у Никонорки.

— Це в Гайдамаки, чи що?

— Та вже ж ні в кого більш. Вони ж у нас перші на всю округу лісовики, — пояснив Степан.

На поляну, продираючись кріз кущі, вийшла шуленька, замурзана дівчинка літ восьми. Біле, як льон, її волосся, прямими пасмами падаючи з голови, закривало почасти по боках її обличчя, од чого при погляді на неї здавалось, що наче-б то вона визирала з якоїсь дірки. Витираючи нечистими руками пітне лице, вона ще більш розвозила по ньому якісь темночервоні плями, що красили собою її губи й підборіддя.

Вийшовши на поляну, дічина зупинилась, вагаючись, трохи оддаль од говоривших.

— Чого ж ти не підходиш до батюшки, дурепа? Піди поцілуй у руку! — крикнув на неї Степан.

Дівчинка, підсмикуючи носом, несміливо наблизилась до отця Панкратія, чмокнула підставлену їй руку і, соромливо понурувшись, почала перебірать руками збірки на своїй запасці.

— Чим це ти так розмалювала свою кирпу? — ласкаво запитав її отець Панкратій.

— Оце, каторжна дівчина, знов, мабуть, каменницю їла,—одмовив за неї Степан.

-- Це ж дочка твоя?—поцікавивсь батюшка.

— Еге ж.

-- Люба, люба дівчина...—ласкаво промовляв отець Панкратій, поглажуючи дівчину по голові.

— Проведи лиш, Гапко, батюшку до Павла Мосієвича, —обернувся Степан до дочки, витираючи їй пеленою сорочки замурзане лице. Ідїть за нею, батюшка, вона вас проведе.

— Ну прощайте, поки що!—і батюшка, охнувши, лїниво підвіся з місця.—Ну, красуня, веди нас,— обернувся він до дівчини, положивши на її плече сухорляву руку.

— Щасливі батюшка!—мотнув кудлатою головою Степан.—А ти зараз же мені назад... чуєш ти?—наказував він дочці.

Отець Панкратій і Остафій, разом з дівчиною, сховалися в кущах.

Край порога зрубаної на скору руч хати, з забитими дошками вікнами, куди привела батюшку дівчина, поралась, перемиваючи посуду, повновида молодиця в червоному очіпку і в рябій, з яркими квітками, спідниці.

— Чи бач, старе опудало, нову вже собі „хрукту“ приладнав,—пробуркотів Остафій.

-- Що кажеш?—спитав, не розібравши, батюшка.

— А он... куховарку підчепив собі яку!—кивнув він на молодицю. Жінка сидить собі дома байдужісінько!... а тут бач який „хвакт“ красується!...

— А тобі до всього діло? Ти всюди встрянеш?—з докором покивав головою, зрозумівши натяк, отець Панкратій.

-- Та мені то що? хай вона сказиться! Я так сказав... Про мене то хоч нехай цілий десяток їх сюди наволоче. Великий клопіт мені в тім!

— Ну то-то ж... Здрастуй, молоднице!—ласкаво привітався він до баби.

— Здрастуйте, батюшка!—і молодиця в мент причипу-рившись, манірно оглянула гостей і осміхнулась так, що її повні, рум'яні, покриті смагою щоки, якимось то піднявшись в гору, мало що не зліпили віка і без того аж надто вже вузеньких карих оченят; стуливши потім долоні рук таким маніром, як наче в них була вода, вона, зігнувшись підійшла до батюшки під благословіння.

— А що Павло Мосієвич тут?—благословляючи запитав її отець Панкратій.

— Тут, тут батюшка... вони спочивають. Я зараз піді їх розбуджу,—заторохтіла молодиця. Посидьте, батюшка, трошки,—підставила вона йому збитий з обапільків стільчик, витерши його попереду своєю запаскою.—Я зараз!... Вони давно вже спочивають, пора вже їх будить!—і молодиця метнулась в хату.

— Тьфу!... Ти бач, чортове насіння, як хвостом круте!—кинув у слід їй, сплюнувши, Остафій.

Отець Панкратій промовчав, немов би не дочувши того, про що сказав рядчик.

— Павло Мосієвич, Павло Мосієвич! Вставайте... Батюшка од Пречистої прийїхав!—доносивсь з хати голос молодиці.—Чуєте?.. Вставайте!...

— Мм... га?...—прорипів з просоння в відповідь її хрипливий голос.

— Та піднімайтесь же, кажуть вам!... От ще новости?—не одставала молодиця.

— Зараз... одстань!

Чутно було, як заскрипіли після цього дошки. Мабуть хтось або встав, або перевернувся на постелі.

— Ти кажеш: батюшка од Пречистої?—трохи згодом перепитав хрипливий голос.

— Еге ж.,

— Отець Панкратій?

— Та отець Панкратій, ніхто ж більш!—сердито вже одмовила молодиця.

— Зараз вийдуть, батюшка!—оповістила вона, в слід за цим з'явившись на порозі хати.

— Ей ти, як тебе там величать, винеси лиш води!—крикнув їй Остафій.

— А он під повіткою стоїть бочка з водою, там і ряска є. Наточить собі просто з бочки,—і молодиця, осміхнувшись, знов сховалась в хату.

Зараз після цього звідтіля вийшов,—позіхаючи і похапцем хрестячи рот, заспаний, з скуйовдженим сивуватим волоссям, в котрім де-не-де стреміла солома й шір'я,—Павло Мосієвич Снісаренко. Зодягнений в ситцеву сорочку, поверх котрої був накинтий суконний, розтебнутий, камзюл і в прості мужичі чоботи з заправленими в них широкими засмальцьованими шараварами,—він з першого погляду на нього, дуже скидався на шибая.

Вибачайте, батюшка... Заставив вас чекати трохи, заспався,—перепросивсь він, йдучи до отця Панкратія і, зігнувши свою гладку фігуру, прийняв від нього благословіння.

— Нічого, нічого...—заспокоював його панотець.

— А-а... „архитектору“—сорок одно!—обернувся він потім до Остафія, сунувши йому товсті, як обрубки, пальці. На червонім, одутлім обличчі його промайнула при цьому погордливо-ласкава усмішка, свідчивша про те, що такі „господа“, як Остафій, були для нього в основі тіжнолі, але нолі, котрі мали велике значіння, стоя при таких одиницях, якою, наприклад, був при цій нагоді отець Панкратій.

— Ну й припарює-ж, Господи Боже мій,—обернувся він зараз же до батюшки.—Просто таки невиносно!

— Правда ваша,—промовив отець Панкратій, жалібно озираючи гладку фігуру Снісаренка.

— Де ж пак!... саркастично додав Остафій.—З таким, можна сказати, корпусом, як у вас, та при такій жароті—

просто, як кажуть, хоч у пляшку лізі!... А для нашого брата,—саме в пору!

— Що й казати, кощей безсмертний... Зовсім зійшов уже на тараню!—зареготав Снісаренко.

— Що поробиш, Павло Мосієвич!—зітхнув Остафій, запалюючи цигарку.

— „Що поробиш“... Поменч довбав би „монопольки“, та тютюн би свій закинув к бісу! А то, бач, димиш ним як? Як наче паровик хороший!

— Не в тім річ, Павло Мосієвич.

— А в чім же?

— А в тім що така вже видно наша доля, що жиру не нагуляєш... З нашими достатками не будеш сомом,—дай Бог хоч таранею прожити вік. А смерті—хоч сомові, хоч тарані, то однаково прийдеться...

— А ми до вас, Павло Мосієвич, по невеличкій справі прийїхали,—перебив Остафій отець Панкратій. Чи нема в вас підхожих нам дубків та липок недорогих?

— Дубки есть, а от що до лип, то в мене їх, чого доброго, й не роздобудете,—жалкував, чухаючи потилицю, Снісаренко. За цим матерьялом вам, мабуть, прийдеться вдаритись до Гайдамаки.

— Ех-хе-хе... Оце вже й кенсько, що не в однім місці прийдеться покунку зробити.

— А ви що ж це строїться задумали батюшка, чи що?

— Та ні, це не для себе... Це, бачте, громада наша порішила збудувати церковно-приходську школу і доручила мені закупити, потрібний для цього, матерьял.

— Та-а-ак... А вам якого ж саме розміру дубки потрібні?—спитав Снісаренко, звертаючись більш до Остафія.

— Та це... як вам сказати?... Зваживши, яка ціна їм буде,—одмовив якомсь то неясно рядчик, пускаючи завій диму зразу у обидві ніздрі.

— Та нам, бачте, треба щоб розміром була побільше, а ціною подешевше!—хитро осміхнувся отець Панкратій.

— Ну, батюшка, ви покупник не аби який, вам чого доброго і не вгодиш!—з свого боку шуткував Снісаренко. А все таки, без жартів, який розмір вам більш потрібен?

— Який полюбитесь..! Краще всього підем та подивимось,—посоветував Остафій.

— Так, так... згодивсь з цим отець Панкратій.

— Ну щож, це можна. Я от зараз піду візьму картуза, та й підем.

Снісаренко пішов у хату, а Остафій, наблизившись до батюшки, почав тихесенько остерігати його.

— Ви, отець Панкратій, не встрявайте, я сам з ним торгуватись буду. А ви вже, як що прийдеться до чого, так начеб то так, мимохідь, закиньте йому з божественного, „блажен, мов, человек, аще виімае обращеніе і к милосердію других привержен...“ і таке инче, як сказано в писанії. Ви вже там знаєте сами, вас не учить цьому... Він, анахтема, це любе! Він про одне тільки і в мислях держе, щоб його титарем громада обібрала... Чорта пухлого! Знають тебе „благодітеля“, досить знають... За п'ятак свічку поставиш, а карбованця поцупить норовиш?... К чортам собачим, а не титарем ходить!..

— Та не поминай ти чорта, Бога ради, —зупинив його отець Панкратій. І що у тебе за паскудний звичай у розмові? Ні одного слова ти без лукавого не скажеш!

— Та це до речі, батюшка, прийшлось.

На порозі хати з'явивсь Снісаренко. Натягуючи на себе засмальцьований парусиновий „спінджак“, він в одне і теж врем'я давав своє розпорядження, стоявшій біля дверей, молодіці.

— А ти, Одарко, наставиш самовара... та ягід пошукай до чаю! Хороша штука до чаю оці ягоди,—обернувь він до отця Панкратія. Далеко краще над лимона! Та скажи Пархомові нехай окульбачить шкапу, та збіга за „монополькою“, —знов крикнув він Одарці. Там під криваттю стоять дві порожні пляшки на заміну.

— Ну щож, давайте сунуть на оглядини, Павло Мосієвич,—примазуючись вже обернувся до нього Остафій. Дивлячись на те, як починалось діло, він мав право сподіватись доброго кінця.

— Можна й сунуть „архітектур“,—згодивсь Снісаренко.
—Ходімте, батюшка!

В слід за цим всі трое рушили розглядати дерево.

Отець Панкратій і Остафій маючи посеред себе Снісаренка, здавались ліліпутами в порівнянні з величезною фігурою лісовика. Похода, маніра і вся фігура Павла Мосієвича кожного запевнювали в тім, що він є „сила“. Та й сам він про це добре знав, бо майже у всякім разі він з'являвся потрібним для другого, а не навпаки.

Розпочав Павло Мосієвич свою кар'єру з простого, невеличкого баришника, менжуючи скотиною по ярмарках. Збивши сот дві карбованців, він зробився, зпершу теж невеличким, „благодітелем“, як сказав Остафій, найбільш для тих з своїх односельчан, котрі, дякуючи своїм життєвим нестаткам, майже що року Божого на жнива ходили „на закис“ в південний край. Даючи кожному з таких бідолаг 5—6 карбованців на дорогу, він брав з них розписки карбованців на 10 на 15, та ще до цього брав від них же в заставу кожухи, свитки, полотно і т. и. Заставу брав він на той случай, що як довжник, вертаючись місяців через два із заробітку не приносив довгу, то ті кожухи і свитки, що лежали у заставі ручилися Павлу Мосієвичу за „божеський“ процент од 150 до 200 годових, не на позичену, а на проставлену в розписці суму. Коли ж проценту наростало стільки, що вещь, котра лежала у заставі була не варта тії суми, то вона простісінько ставала власністю позичальника, котрий незалежно від цього, на підставі розписки, закладав позив і спродував у довжника все ще, що можна було продати „по закону“. Ні сльози, ні благання, ні прокльони, навіть, знищених;—ніщо не помагало: Павло Мосієвич зоставався завжди непохитним і завжди доводив розпочате діло до кінця. Дякуючи такому

сильному характеру і непохитній енергії, через 5—6 років Снісаренко замість сотень—орудував уже тисячами копталу і, залишивши баришництво, узявся за лісництво. На його щастя на той час розпочав свою справу лісоохоронний комітет. Це „страховище“ так вплинуло на деяких поміщиків і інших лісних власників, що вони наввпередки один поперед другого старались, як найскоріше скористуватись своїми, поки ще неомежними, правами, і мало що не за безцінь спродували приналежні їм ліски.

Попавши на свою стежку, Павло Мосієвич років через п'ять видавав уже з себе справжню „силу“: діяльність його, як „благодітеля“, розкинулась остільки широко, що в круг її попали не тільки бідолаги-мужики, але й міщане і навіть деякі околишні панки з категорії „обсмоктаних“.

Але що дивно, так це те, що разом з розвитком такої діяльності розвивалась у Павла Мосієвича і щирість до Бога; виявлялась вона в тім, що він не пропускав ні одної церковної служби, любив читать акафисти, житія угодників; а під п'яну руч то й медом було його не годуй, аби тільки провадив з ним „душеспасительну“ розмову.

Ой Боже Праведний!... Треба було бачити Павла Мосієвича в церкві тоді, коли він, не дивлячись на свою товсту фігуру, цілісінький акафист вистоював на вколюшках з кожним приспівом, кладучи на себе широкий хрест, бив земні поклони. Піт з нього котивсь горохом, дихав він тяжко і з кожним зітханням з грудей його виривавсь якийсь то хриплий посвист... Дивлячись на нього у цей мент здавалося, що він, з доброї своєї волі, звалив, на себе всі гріхи, як що й не з цілого світа, то принаймні з усього свого села і, знемогаючи, несе їх на собі, йдучи просить за согрішивших перед Богом.

Одначе все це благочестіє не шкодувало Павлу Мосієвичу, не дивлячись на жінку й на свої немолоді літа, „прилажувати“, як казав Остафій, за куховарок таких молодниць, як Одарка.

Всю дорогу батюшка і Павло Мосієвич йшли мовчки. Один Остафій не зупинявся і нивгаваючи молов, раз-по-раз позираючи на велечезні дорева грапеського лісу, що росли стіною по обидва боки пробитої по ньому просіки.

— Ех, от де багатства... ой-ой-ой!... Одним цим лісом можна б було всю нашу волость на ноги поставити... А йому, либонь, все мало? все нехватка? А дай лишень мені хоч десятин з п'яток цього самого ліску—фю-ю-і-іть! і на козі-б тоді до Остафія Ягоровича не під'їхав, а не те що... та що там п'ять десятин?... десятину... дубків десяток дай на вибір і то б уже по іншому „обращеніє“ пішло зо мною!

Бог його Святий знає куди б занесла Остафія його фантазія, коли б долетівша з кущів орішника розмова не примусила їх всіх трьох прислухатися до неї.

— Та в тебе-ж очі то були, чортова ти кочерга, коли ти купувала, чи ні?—кричав чийсь різкий мужичий голос.—Що ж то я тебе силував платити мені гроші, чи як?!

— Батечку ти мій!.. та'джеж я баба темна, нетямуща... З'яви ти Божеську милость!—благав слізний жіночий голос.—Я здалась на тебе, думаю собі: ти чоловік тямущий у цім ділі, багатий,—не захочеш скривдити стару бабу, та ще і вдову...

— Ну, от я, як чоловік тямущий, багатий, котрий не хоче тебе скривдити, і кажу тобі руським язиком: іди ти од мене під три чорти!... а не одступишся—позагривку накладу... чула?!

— Та що ж воно буде, рідненький мій... це ж мені хоч живцем лягай у домовину!—не переставала баба.

— Та вже там живцем, чи мертвою ляжеш,—а все одно слово ноги витягнеш! Гляди сьомий десяток уже марно землю топчеш! Запевне частка давно вже на тім світі йде на тебе!

— Бога ти не боїшся, Никонор Захарович... За що ж так знущатись?...—по голосу було чути, що баба от-от заголосе.

— Та буде вже тобі... іди геть! Побалакала-ну й годі!
—встряв у розмову чийсь то сипкий бас.

Почувся шелест розхилиємих кущів і на просіку одно за одним вийшли двоє мужиків і баба.

— От теж „художник ракловського ниверситету“, — немов би сам собі промовив, глянувши на мужиків, Остафій.

„Художник ракловського нивирситета“ і був той самий Гайдамака, про котрого Остафій ще ранше говорив, що за копійку рідного батька на шибеницю поведе. Вільно підійшовши до панотця і взявши благословіння, він уже хотів був уступити з ним в розмову, але в цей самий мент баба, ставши проміж ним і отцем Панкратієм, почала його просити заступитися за неї.

— Батюшка, попросить хоч ви його... це ж наші останні гроші, які тільки були у нас!.. До того ж ще—ні одного робітника в сем'ї нема, жіноцтво одно... Батюшка!..— кріз слези торохтіла баба, раз-по-раз витираючи кінцем намотаної на голові хустки свої почервонівші очі.

— Стривай, стривай, бабо,—зупинив її отець Панкратій. Я ж не знаю у чім в вас річ, а ти до мене...

— Та тут, отець Панкратій, уся справа плевка не варт!—перебив його Гайдамака. Діло „вніманія не стояще“! Звикла баба цілий вік свій скиглити, то й тепера скиглити.

— Та як же „вніманія не стояще“, Никонор Захарович, рідненький мій... Для тебе, то воно може й „не стояще“, а ми останні грошенята свої вбили на це діло. Розсудить же ви нас, батюшка, по Божеські,—знов обернулась баба до отця Панкратія.

— От яка бо ти, бабо... Кажу ж тобі толком, що я навіть не знаю, що проміж вас вийшло і в чім суть?

— А от дозвольте мені, батюшка, я все вам розкажу, як слід,—почав, відпихаючи рукою бабу, Гайдамака. Купила вона в мене липу на стройку. Ну ото сторгувалися за дерево, як воно стояло, на коріні... Поладнали на сорока двох карбованцях... Добре! Дала ото вона завдатку

п'ятнадцять карбованців, договорила рубщиків... Зрубали вони липу, аж гульк! а вона пуста в середині... гнила, виходить...

— Та хіба ж я знала, як оддавала завдаток, що вона гнила буде?—перепинила його баба.— Адже ж ти казав...

— Що казав... що казав?!—з свого боку не дав скінчить їй Гайдамака. А яж, по твоєму, Свят Дух, чи що, що повинен був знати, що у ній в середині єсть? Теж лазаря співа!

— Ну-у... давно вже, не бійсь, свердлом спробував,—лукаво підморгнувши, замітив Остафій.

Гайдамака, обернувшись, глянув на нього так, що рядчик, спочуваючи себе ні в тих ні в цих, почав пильно розглядать вершину дуба, під котрим вони стояли.

— Ну і що ж далі?—цікавивсь отець Панкратій.

— Ну так от бачете, не хоче лиши брать!—кивнув на бабу Гайдамака.

— Та ні-ж бо таки, нащо-ж говорить даремно? Ти кажи по Божеські, Никонор Захарович... Я прошю його, батюшка,—обернулась баба до отця Панкратія,—або уступить мені на липі, або ж вернуть з завдатку десять карбованців... Нехай уже п'ять карбованців зостаються йому за клопоту. Уступи, рідненький, десятку! Мої сироти вік за тебе моляться будуть... Тобі Бог заплаче вдвоє!...—хлипаючи приступала баба до Гайдамаки.

— Піди-ж принеси мені від нього розписку в тім, що він заплатить, тоді й уступлю,—байдуже замітив на це Гайдамака.—У нас теж, бабусю, гроші не полова, щоб по вітру ними віять. У нас їх кури не несуть, а ми сами їх заробляем!

— Треба б пожаліть, Никонор Захарович,—проситель-но віднісся до нього отець Панкратій.—Бідна баба, та ще до того ж і вдова... Адже-ж вона буде нарікать на вас, а сльози вдовиці,—то знаєте...

— Уступи, пожалій нас, рідренький мій... Я кожен день буду згадувать тебе в своїх молитвах... я... я...—і баба не договоривши за сльїзми, упала йому в ноги.

— Та ну, ну, годі вже... підіймайся! Іди з ним, він тобі уступить,—указав він пальцем на стоявшого все врем'я мовчки високого, рябого мужика в обшарпаному, підперезаному ремінцем, якомусь довгому гедзеті. Скинеш там Іване їй десятку, нехай вже забирає свою липу.

— Спасибі ж тобі, рідненький мій!—знов упала йому в ноги баба.—Дай Бог тобі всього того, що сам собі захочеш!

— Ну, йди вже, йди... Годі тобі лазаря співать!—і Гайдамака, наблизившись до Івана, непримітно для всіх шепнув йому:

— Дай їй там по потилиці бісовій бабі, замісто уступки... Купила—хай бере!

Не маючи на думці ніякої підозри, заспокоєна баба пішла, радіючи, услід за Іваном.

Як що Снісаренко своєю вдачею і вчинками пригадував лисицю, то Гайдамаку сміло можна було назвати яструбом. Навіть, обличчям своїм, він скидався на цю хижу птицю. Його темнорудаве волосся й брови, хижі, шмиглявші на всі боки, як та миша в пастці, зеленасті очі, довгий, загнутий на прикінці сизуватий ніс, витнуті, як у кімлика, скули, стирчавші вуси і кушцста борода—все це окремно і разом взяте а ні-же не свідчило за нього, як за людину симпатичну. А як ще додати до цього сухорлявий сутулий стан з зогнутою спиною, котрий придавав йому вид завжди визиравшого чогось то чоловіка, то здавалось, що кожний при погляді на нього мав рацію подумати про те, що коли Гайдамака поки ще нічого не вкрав і нікого не зарівав, то при першій же okazії доконче вкраде і заріже!

Як раз навпаки Снісаренку, Гайдамака ніколи не ліз „живцем до Бога“, як казали про нього селяне, і взагалі до всіх обрядів віри відносивсь байдужісінько. Він, навіть, не соромлячись шуткував з сього поводу, з усмішкою роз-

казуючи, наприклад про те, що на його щастя завжди, коли він буває в церкві—святять паски,—цеб то натякав на те, що він тільки на Великдень одвідує Божий храм.

Зпершу Гайдамака, вкупі з своїм братом, торгував на селі крамом. Торговля їх тяглася аби як, ледве даючи щоденний харч сем'ї і день од дня все більше й більше гіршала й доходила до краю. На його щастя незабаром розпочався щорічний розпродаж ділянками величезного вікового грапського лісу. Взявши од брата свою частину грошей, що припадала йому по розділу, Никонор Захарович рішив змінити свій фах і, купивши на торгах декілька ділянок лісу, на манір Снісаренка, зробивсь лісовиком. Дякуючи своїй хижацько-нахабній вдачі, він скоро став небезбешним конкурентом його на цій арені. А від того не дивлячись на ввічливі відносини проміж собою, вони страшенно ненавиділи один д'ного ненавиділи так, як тільки в силах ненавидіть один д'ного два оперних тенора, виступаючих на одній і тій же сцені.

— А що, Никонор Захарович, чи нема у вас підхожих нам липок, недорогих?—Йдучи рядом з Гайдамакою запитав його отець Панкратій.

— Як то нема,—липи багато... А от чи буде вона підхожою вам, чи ні,—цього не знаю. Подивіться: полюбиться, сторгуємося за ціну—візьмете; а ні, то, як там кажуть „од чужих воріт є й поворот“, купите в другому місці. Кажучи це Гайдамака добре знав, що окрім його, липи по ділянках не було ні в кого більше.

— А як би це глянуть на ваші липки?

— Та тут зараз, в кінці цієї просіки, за яром, будуть мої ділянки. Приходьте туди до мене: подивитесь на липи і побалакаєм, як слід, про ціну.

— Тільки ви вже, Никонор Захарович, не дуже нас приперайте в ціні... Діло це громадське, щоб не було на нас нарікання за переплату.

— Для мене, паноче, все одно: чи для громади ви купуєте, чи для себе... Ціну возьму таку, як слід... Що до цього, то будьте вже спокійні.

— От, от... і я ж про це кажу,—згодивсь отець Панкратій таким тоном, як начеб то вони на сам кінець прийшли до однієї й тієї думки.

Відбившись од них трохи Павло Мосієвич і Остафій вели проміж себе зовсім іншу розмову.

— Тільки ви от що, Павло Мосієвич... будем говорити „откровенно“, по совісті....—шукаючи по всіх кешенях сірника, з цигаркою в зубах, похапцем якимось то промовляв Остафій.—Скільки ви думаете дати мені на могорич, за моє старання, як що ми купимо у вас дубки на школу?

— А тиб скільки хотів?—зкоса зирконув на нього, чуваючи ухо, Снісаренко.

— Та я так „мечтаю“, що по п'ятишниці од коріня не важко для вас буде.

— Скільки ти сказав?—немовби не дочувши, зупинившись трохи, спитав Павло Мосієвич.

— П'ятуху, кажу, од коріня,—скинувши на нього погляд, якимось то непевно вже повторив Остафій.

— Ну-у... це, брат, жирно дуже буде! Гляди щоб в животі не забурчало.

— Стривайте, а скільки ж ви думаете дати Павло Мосієвич? Як ваше „разсужденіє по єтому предмету“? Треба сказати, що Остафій у серйозній розмові, часто закидав по вченому і по московському.

— А моє „разсужденіє“ таке, що як дам я тобі по карбованцю од коріня, то хрестися та й кажи: слава Тобі Господи!

— Це ви щож, глузуєте з мене, Павло Мосієвич?—зсунувши бриль на самісіньку потилицю, глянув на нього, прищулившись, Остафій.

— Ніякого глузування тут нема, а кажу я те, що слід.

— Те-е-екс... Це по вашому виходить, що коли ми купимо у вас карбованців на тисячу лісу, то ви мені за це одсипете всього-на-всього „рублей п'ятнадцять депозиту?“ Здорово, нічого сказати! Але тільки я вам скажу на це: „благодарим покорно!“ Ми, знаєте, можемо і других купців знайти як небудь... От що!—рішуче заявив Остафій, пустивши носом дим і приспішив ходу, ніби бажаючи догнати отця Панкратія.

— Та ти не чмихай, а товком скажи,—почав уже в иншім тоні Снісаренко, придержуючи за лікоть рядчика.— Скільки ти хочеш злупити з мене за це діло?

— А от слухайте сюди: я вам „акортно“ заявлю,—і Остафій, зупинившись трохи, зняв свій бриль, розмашисто перехрестився.—Щоб я на цім самім місці луснув, коли хоч на один щербатий грош менч трьох карбованців візьму за корінь! Чули? От вам без всяких хвактів вся наша розмова!

Бачучи таку рішимість, Снісаренко тільки плюнув.

— Н-ну!.. По три, так по три... Бери вже, щоб тебе за живіт узяло, ракло треклятий!

— За щож це ви так „нагло ругаетесь“, Павло Мосієвич?—ледве здержуючи усмішку задоволення, спитав Остафій.

— Та як же тебе не лаять, прохвоста, коли ти радий шкуру здерти з чоловіка, щоб ти подавився тими грішми анахтемський глистюк!.. Господи, прости Ти моє пригрішення!—набожно підвів до гори очі Павло Мосієвич.—Скільки гріха приймеш на свою душу з такими чортами, як ти, щоб ти маленьким луснув бісова личина!

— Нічого, нічого, Павло Мосієвич, не жалкуйте... Ми своє надолужим, будьте певні!—підморгнув Остафій на батьошку, що йшов поперед їх.

— Ну, глядиж ти мені „кащей безсмертній!“ Як що будеш ще ціну одтягати при покупі,—власними руками з пики сояшник зроблю! Чув?

— Та будьте без „усякого сумління“, Павло Мосієвич... Будем торгуватись так собі... „для блезіру“... Тільки й ви вже без усякої щоб фальші...

— Егеж, як раз... одуриш тебе чорта сушеного.

— Остафій! — крикнув, зупинившись, отець Панкратій.

— Що таке, батюшка?

— От Никонор Захарович каже, щоб зайшли до нього на ділянки глянуть на липи.

— Ну щож, це можна,—згодивсь підійшовши Остафій. Тільки у нього, батюшка, дешево не купиш,—додав він, виразно глянувши на Гайдамаку.

— А ти під перед не забігай, горе-рядчик!—зневажливо скинувши на нього погляд,—промовив той. Перш подивись на дерево, запитай про ціну, та поторгуйся, а тоді вже й скажеш: дорого, чи дешево можна купити! Ви от що паноче обенувсь він до отця Панкратія,—кінчайте тут своє діло, та тоді до мене на ділянки... я вас піджду там. А поки що—прощавайте!

— Чого ви так поспішаєте?

— Треба, паноче: робота скрізь іде в мене, свого ока треба!—і Гайдамака сховавсь в кущах.

Три карбованці од коріння „на могорич“—зробили те, що слід: Павло Мосієвич продав на школу десять дубків майже без торгу і по такій ціні, що зовсім вже не жалкував на Остафія за взятий ним куртаж. Один тільки, останній, величезний дуб, одинадцятий по щоту, викликав дуже довгу балачку поки зійшлись в ціні.

Річ у тім, що отцю Панкратію притьмом захотілося купити цей на вдивовижу здоровенний дуб, бо Остафій запевнив його в тім, що його одного цілком буде доволі на

поміст і стелю у всій школі, та ще й дров з віття можна буде нарубать для тієї школи сажень три. Запримітивши це, Павло Мосієвич закерував за нього таку неймовірну ціну, що навіть здивував самого рядчика.

— Що це ви, Павло Мосієвич?.. Та хібаж можна за одного, дубка сім четвертих править? Це вже ви прості-сінько, таки, вибачайте на цім слові, як дурень за батька загородили!

— Ну, а по твоєму ж, розумник, то скільки за нього править?—не ображаючись запитав Снісаренко.

— Просили б сто, у всякім разі не більш як сто двадцять п'ять карбованців... а то—сто сімдесят п'ять! Чи бач бухнули... Мабуть і самим чудно?

— Це дорого, Павло Мосієвич!—з свого боку замітив отець Панкратій.

— Купуйте, батюшка, не бійтесь!—піддержав „мазу“ вертівшийся коло них шустрий, невгомний, смуглявий як циган, швець Напльошка. Купуйте, а я, потім, перекуплю у вас вершину з дуба... Хорошу ціну дам!

— От бачите, батюшка? Ви ще не купили дуба, а в вас уже й купець на віття знаходиться... А ти кажеш дорого?.. Ех ти!..—з докором обернувся Павло Мосієвич до рядчика.

На сам кінець поладнали на ста п'ятидесяти п'яти карбованцях, але з тією умовою, що зрубка купленого дуба ляга на продавця.

— Ех, зовсім „обіждаєте“ ви мене, батюшка!—зітхнув Снісаренко.

— Ну-у... Що це ви Павло Мосієвич? Ну що вам стоїть зрубать дубка?—непевно одмовив батюшка.

— Що стоїть, кажете?.. А буде стоять карбованців два; коли не з гаком, от що!.. Ей ти, Омелько!—зупинив він проходившого мимо них якогось дядька з пилкою.—Поклич сюди до мене зараз Здоровця з артіллю, та нехай ка-

нат і коворот візьмуть з собою!.. Адже можна зараз рубать його, батюшко?—обернувся він до отця Панкратія.— Бо тепер в них зайвий час є...

— Можна, можна зараз,—згодився батюшка.

Трохи згодом до них підійшов високий станом, кріпко збитий, чорнявий, видний з себе чоловік років так під п'ятьдесят. Повне зашмалене обличчя його було серйозне і мало на собі знак самонадії і поваги до себе. Розстебнутий комір сорочки обнажав зашмалені, могутні, вигнуті вперед, як у птиці, груди.

— Добридень вам, паноче!—привітався він з отцем Панкратієм. Встромивши принесену з собою сокиру в стоявший збоку пень, він повісив на тупорище свій старий картуз і урочисто за тим підійшов до нього за благословінням.

— От що, Павло Хомич,—обернувся до нього відмінним, ніж до інших робочих, тоном Снісаренко. Треба буде зрубать для батюшки оцю махину,—указав він на дуба.

— Щож це можна,—згодивсь Здоровець, висмикнувши з пенька свою сокиру.

— А куди ми його направим падать?—запитав Павло Мосієвич, оглядаючи дуба з усіх боків.

— А це вже куди батюшка звелять... Тільки як що сюди, на гору, то трудновато буде, бо канати у нас вутлі, Павло Мосієвич,—зробив свій вивод Здоровець,—багато клопоту з ним буде.

— А инше не можна валить нікуди більш, як не на гору,—з свого боку заявив Остафій. Коли ми повалим його на инший який бік, то трудно буде потім накочувать кражі на станок, як прийдеться пилять.

— Та це то правда,—згодивсь Здоровець.—Ну, на гору, так на гору.—додав він трохи згодом. Тільки ви вже паноче, не поскутіться поступитись могоричем, хоч з квар-

ту на всю артіль,—а ми вам його, голубчика, положим, як сами завволите.

— Ну щож, це можна,—пообіцяв отець Панкратій. А ви вже зробіть, будь ласка: все як слід, щоб було чисто.

— За могоричем діло не стане,—знову встряв Остафій,—а ви глядіть лиш щоб отроги не потрощить на сірники.

— Еге ж... поучи мене, я без тебе не знаю,—з призиством глянувши на нього, замітив Здоровець.—Ти свого берега держись, своє діло знай, а в чуже не плутайся! А ну лиш, братця, уставляйте коворот з того боку!—крикнув він наближавшимся людям з його артілі.—А ти, Никифоре з Іваном ідіть сюди з пилкою... Та верніться хто небудь захватить довбню!

— Та повертайтеся швидче, чорти!—пригримнув на них Павло Мосієвич.—Волочете ноги, як наче три дні не їли, бодай вони вам повсихали!.. Господи, прости мое согрішення! Скільки гріха через вас, лодарів, приймеш на свою душу, бодай би вас чорти забрали од мене всіх, до купи, разом!

Отець Панкратій тільки уші потирав, слухаючи таке по-жадання.

— Ну рубайте ж, братці,—обернувся він до Здоровця,—а ми тим часом сходим до Никонора Захаровича, подивимось чи нема у нього підхожих липок.

— А може, батюшка, перш чайку б одкушали?—запросив його, поглядаючи на сонце, Снісаренко.

— Ні вже, Павло Мосієвич!—покінчаем зпершу діло, а тоді вже й за чайок можна... Ну, ходім, Остафій!—і отець Панкратій з рядчиком подались в напрямі указаних Гайдамакою його ділянок.

В надії на могорич, Здоровець і вся його артіль з надзвичайним старанням узялися за роботу, так що коли по-

вернувся через який час, разом з Гайдамакою, батюшка з Остафієм, то вона була вже на скінченню.

— Дуб,—з одного боку підрубаний сокирами, а з другого підпиляний широкою, поперечною пилюкою,—ледве примітно хитаючись коли-не-коли стиха поскрипував усвоєму коріні. Здавалось, що з кожним ударом довбні по загнатим в його проріз клинням, він ледве чутно зітхав, наче-б то од болі, непримітно осідаючи на той бік, куди тягнут його товстий, помалу натягуємий коворотом, канат.

— Легше, легше, діяволи, тягніть!...—покрикував Павло Мосієвич на чотирьох робітників, що наvertsали на коворот канат.

— Ггех!.. ггех!..—з запалом садив довбнею по клинням Здоровець, раз-по-раз витираючи рукавом сорочки висипавший на лобі піт.

Незмазаний коворот скрипів і вищав так, як наче хто мокрим пальцем водив по віконній шибіці.

— Ех, добре-б було, коли-б вітерець потягнув на яр... От би зашумів туди дубочок: тільки-б курява пішла!—замітив Напльошка, позираючи на вершину дуба.

— А, бодай ти подавивсь, анахтема, цими словами!—плюнув Снісаренко.—А тягти з яру хто його буде? ти, чи що? Мовчить-мовчить, та й бовкне, idol лопухий, таке, що й купи не держиться, тіпун би тобі на язик діяволу, прости Господи що скажеш!...

Притомившийся Здоровець сів карачки і, одірвавши од пом'ятого газетного листа тоненьку смужку паперу, почав вертіть з неї цигарку, а два його товариші, ставши кожен на одно коліно, знов почали підпилювати корінь дуба.

— От, батюшка, я чув, що вигадали якусь то круглу пилюку, котра в один мент самий товстий кряж може перепилять,—замітив Снісаренко, пильно придивляючись на те, як пильщики тягали пилюку.

— Еге... все вигадують, все вигадують... Світ посувається вперед,—зітхнувши одмовив на це отець Панкратій.

— От добре було-б роздобути таку штуку!

— А навіщо вона вам здалась Павло Мосієвич?
—спитав його Здоровець.

— Як навіщо? А хоч би на те, щоб вашому братові не платити по семи гривень на день за розпилку, от навіщо! По семи гривень берете на чоловіка, а пораетесь пів дня коло одного корія!

— А знаєте, що я вам скажу на це, Павло Мосієвич?
—почав, закуривши, Здоровець.

— Ну?

— Позаторік ходив я на закіс. Стали ото ми цілою артілю до одного гуртовщика,—котрий займався викормом волів на продаж,—скосити його степ. Ціну взяли хорошу: по два карбованці на чоловіка в день... Спека, бачте, стояла тоді страшенна,—так він довго і не торгувався, бо боявся перепустити траву. Добре. Косим ото ми день, косим другий... Третього дня, як раз в обідню пору, приїздить до нас сам хазяїн. Привітався з нами, та й питає у свого приказчика, чи багато викосили? Приказчик і каже, що отстільки то десятин. І покажись, мабуть, нашому хазяїнові, що мало ми зробили за це врем'я. Осміхнувся він та й каже.

— Добре-б було, братці, коли-б вигдали такі коси, що махнув нею раз—півдесятини, махнув удруге—і ціла вже десятина скошена... А то от ви третій день топчитесь—і все на однім місці.

Мовчим ми всі. А в нашій артілі був один, молодий ще з себе, хлопець, здається з Полтавської губернії... Учений шельмець: все книжки що свята Божого читав... Подивись він на хазяїна, та й каже:

— Це так же-б було добре, хазяїн, коли-б дав Бог вам накупить таких волів, що став би кожний з них їсти, висунув язик раз—і поволік ним в рота копицю сіна, висунув удруге—і цілої скирди вже нема.

— Бодай вони повиздыхали тобі такі воли!—плонув хазяїн.

— То нехай же б чорт узяв і всі такі коси!...—одмовив йому хлопець. От що Павло Мосіевич!—скінчив Здоровець.

— Це-ж ти до чого причту цю сказав?—запитав Снісаренко.

— А так... „на здогад буряків, що треба капусти“,—одмовив Здоровець, знов взявшись за довбню.—А ну лиш вийміть пилку,—обернувся він до товаришів,—треба ще підбить,—і, поплювавши на долоні, знов почав заганяти глибше в проріз, потріскані од ударів довбні, клинн्या.

— А от-же я вам, паноче, липки не можу уступити по тій ціні, що говорили,—нежданно обернувся Гайдамака до отця Панкратія, скінчивши якісь то рахування у своїй за-смальцьованій записній книжці.

— Як же це так, Никонор Захарович?—здивовано спитав його батюшка.—Адже ж ми з вами сторгувались?

— Ну що ж з того, що сторгувались: адже-ж я завдатку з вас не брав? Так яка-ж тут купля?

— Талже ж це, як би вам сказать... не гоже!

— Що подієте, паноче, так уже виходить. Як що не накинете по чотири карбованці на корінь,—не оддам.

— Ні це для нас буде не підхожим... Тоді вже ми в другого купим.

— У другого ви, паноче не купете, від того що липи, окрім мене, ні в кого другого нема тут близько. А ви

краще не скупіться, та накиньте по чотирі рубрики на штуку! За те, я вам скажу, матерьялець дістанете за перший сорт!

— Так це того, що окрім тебе чортма липи, так ти і хочеш з нас зірвать?—устряв Остафій.

— А од чого-б і не зірвать? Кожен, братухо, норовить щоб з кого небудь і що небудь зірвать?—глузуючи замітив на це Гайдамака. Різниця тільки бува в тому, що один норовить обробить це діло таким маніром, щоб укусивши й кров замовить,—а другий веде свою лінію навпростець: прийшлось зірвать, зірвав та й годі! В острог за це не садовлять, так об чім же тут і теревені править?—резонно доказував Гайдамака.

— Та'адже ж ти сторгувався,—ну й виходить, що скінчив діло... Назад же тільки раки лазять!—спробував ще цим дошкулить його рядчик.

— Нічого, брат і люде лазять, як спереду чим припече,—байдуже одмовив Гайдамака.

— А найголовне діло те, що липки ваші, Никонор Захарович, підуть на школу, на добре діло... Тут не те, що зірвать, а уступити би слід,—пробував урезонить його иншим маніром отець Панкратій.

— А який мені, паноче, інтерес од вашої школи? Сам я ходить до неї не буду, та й дітей туда не пошлю, бо у нас і своя есть.

— Ну... а всеж таки не шкодило б хоч трохи зробить добро... Громада наша, як і сами знаєте, бідна,—не зпнявся отець Панкратій.

— Е, паноче, всього світа не оплачеш! Коли я буду всім робить добро, то сам без чобіт зостанусь, а мої ноги одвикли вже босяком ходить.

— А цікаво знать, давно вони в тебе одвикли?—лукаво запитав його Наплюшка.

— З тих самих пір, як твої руки до чужого стали привикать,—байдуже одмовив Гайдамака.

Розлігся загальний регіт. Всі добре знали, що з тих пір, як почалась продаж ділянками заповідного грапського лісу, Гайдамака почав багатіти ставши лісоторговцем; з тих же самих пір Напльошка почав красти з проданих ділянок чужий ліс.

— А чи не вигідніш буде для нас, отець Панкратій, од вікон вверх замість липи—положить сосну?—як застереження для Гайдамаки, вніс свою пропозицію Остафій.

— Ну щож, положіть сосну, і то буде горазд,—згожувався Гайдамака, зробивши при цьому Остафію ледве примітний знак рукою. (Корившись цьому чародійному знаку рядчик непримітно одійшов за ближній кущ.

— Ти от що „господин“ рядчик,—зразу почав підійшовши трохи згодом до нього Гайдамака,—не ветрявай ти туди, куди тебе не просять.

— Це ти про що ж?—немов би не розуміючи нічого, здивовано спитав Остафій.

— Та годі дурня з себе вдавати! Добре знаєш про що кажу... Ну, значить, ніякого чорта й баляси точить! Я тобі от що скажу: липи ви у мене все одно купите, хоч ти там не затагуєш лазаря про сосну. Тільки річ от у чім: як що ти не будеш лізти у це діло, і батюшка накинє мені по чотири карбованці на корінь, то так тому й бути, біс твого батька бери, дам уже тобі по карбованцю за кожний корінь... А як що мені прийдеться через тебе та уступить хоч по одній копійці,—то ти дістанеш от що!—і Гайдамака під самісінький ніс Остафія підставив дулю.—Зрозумів?

— Ну та й хлюст же ти, як я подивлюсь на тебе!—не тільки що не образившись, а навіть з якоюсь радістю замітив на це Остафій.—Тільки от що: як що ти мене одуриш хоч на одну копійку, то от дивись,—при цьому

рядчик перехрестився,—щоб я паски не діждав, коли не нашкожу тобі так, що довго будеш пам'ятать.

— Та ти хоч не божися, Бога ради. Як що захочу одурить, то цим ти мене не злякаєш,—махнувши рукою, байдуже замітив Гайдамака, йдучи назад до дуба.

— Ні... ти уже слухай... Никонор Захарович,—осівшись трохи, почав, йдучи за ним, Остафій.—Я тебе прошу по совісти... будь ласка, щоб уже без усякого шахрайства... бо кепсько ж буде...

— Ну добре, добре... Отак краще, брат,—навчаючи замітив Гайдамака.—Тільки ти вже геть від мене, не йди зо мною поруч, а то, гляди, піп то, хоть і пришелепуватий трохи, а чого доброго „махинацію“—то нашу розжує.

— Це правда, ---згодивсь Остафій і одбившись трохи од Гайдамаки, почав шукать проміж кущами ягід.

— Що до отця Панкратія, то Гайдамака цілком помилявся: зацікавлений роботою, котра вже підходила к кінцю, він зовсім не примічав відсутности Остафія.

— Майже що зовсім уже підпиляний дубок, дріжав за кожним ударом довбні і все частіше і частіше тріщав по-троху, „кашляв“, по виразу, не перестававшого заганять у його рану клинця, Здоровця. Удари довбні віддавались якось коротко і глухо. Все більш і більш навертаемий на коворот канат натягнувся майже рівно і при найменшій несправній повороті коворота зскакуючи з круга, подавав глухий гук, подібний тому який подає товста одпущена струна.

— Легше, легше ви діяволи, напірайте, бодай би з вас дух вишерло анахтеми!—покрикував Павло Мосієвич на ходивших круг коворота мужиків,—Пруть і пруть, як ті ведмеді, щоб вам чортяка спину поламав, прости Господи, що скажеш!... Скільки нагрішиш з вами, анахтеми, й сами ви не варт того, анцибали перисті!...

Робота наближалася зовсім к кінцю.

— Вийми пилку!—порядкував дотепний у цім ділі Здоровець.

Робочі поспішно почали витягати пилку. Але тут скоїлось щось до того не сподіване і разом з тим таке страшне, що на деяку хвилину відняло спромогу не тільки вчинка, але навіть і голоса присутніх.

Сперш в повітрі почувся глухий гук, схожий з тим, як хто ударить плазом деревяною лопатою об землю. Вмент за цим, дуб, зловіще крякнувши, зломався на тонкім, зовсім уже підпиленім, своїм стрижні і, сприснувши з пенька, на один мент став нерухомо. Здавалось, що він вибирав в цей мент, куди йому легше буде впасти, йому, велитню, котрого здолали такі нікчемні вороги. І справді, які мизерні, які безпомічні в цей притичний мент, були сковані жахом, його вороги.

Бліді, з перекошеними страхом обличчями, стерявши жадну спроможність владать своїми членами, вони ніби застили у тих позах, в яких застукав їх цей несподіваний, страшенний мент. Для них він тягся цілий вік. А як справді—то це був тільки один мент, услід за котрим напрям упаду визначився ясно: дві величезні одроги, що росли з одного боку дуба, зпершу помалу, потім все швидче й швидче петягли його у бік супротивлений тому, куди зпершу тягнув його лопнувший канат.

— Остафій, тікай!!..—не своїм голосом скрикнув, раніш усіх опам'ятавшийся Здоровець, побачивши що дуб пада в ту сторону, де Остафій шукав проміж кущами ягід.

Оглянувсь Остафій, зиркнув вгору і закам'янів на місці; заступивша собою пів неба величезна вершина дуба, з шумом, немов та буря, неслась прямісінько на нього. Ще один мент,—і він зірвавшись з місця, мов ошпарений метнувся, але не на бік, а вперед, в напрямі падавшого дуба.

— На бік, на бік (держи чорт!!..—ще раз крикнув, надсажуючись, Здоровень.

Ік заїць кинувся у бік Остафій, але спіткнувшись на стиртавший пень, плазом ростигнувся на землі.

— Пропав...—не голосом, а пошепки промовив отець Панкратій, заплющивши на цей мент очі.

Ніхто не бачив вже того, чи піднявся Остафій, чи ні. Замітили тільки як здригнулася земля од упавшого на неї велітня і як над тим місцем, де спіткнувся і впав Остафій, стовпом зірвалось вгору листя, кора і дрібне, сухе віття розтрощеної в щент вершини дуба.

Через пів години отець Панкратій, стоячи над виратуваним з під віття дерева Остафієм, читав над ними відхідну. Смерть наступила вмент. Величезна одрога дуба, розчавчивши груди і весь хребет, майже приплющила сердешного до землі. З під дірявої свитини, що покривала труп Остафія, було видно все його обличчя і кисть правої руки з конвульсійно зігнутими пальцями. Скланні, повилазавші з своїх орбит, очі його так і застили в предсмертнім страсі перед спіткавшою його несподіванною смерттю. По боках перекошеного рота виднілася кривава піна.

Навколо батюшки стояла товпа, прибігших звідусіль робочих. Всі вони пильно дивилися на труп бувшого за пів години перед цим шустрого і клопотливого рядчика—Осташки, деколи мовчки, зовсім машинально, осіняючи себе, в слід за отцем Панкратієм широким хрестом. Один тільки підпарубчий Пархом, тільки що „доставивший монопольку“, протиснувшись поближе до покойника, замітив голосно і навіть якось радісно:

— Ух, та й хвацько-ж довбонуло!

Стоявший поруч Здоровець, осіняючи себе хрестом, разом з тим шльопнув його рукою по губах і цим самим аунинив на далі балачку Пархома.

— Еге... Тепер, можна сказати, що всій сем'ї його—лабет!— хитаючи головою, немов би сам собі, замітив Здоровець, устромивши свої очі на зваленого дуба.

— Чудний чоловік!... Звісно лабет, коли їх осталося шестеро дрібязку, мал мала менше, найстаршому дванадцять років!—підхопив Степан. І то, бідодага, побивався, Ти, Боже, бачиш як: ледве-ледве зводив кінці з кінцями.

— Ех, життя наше, братці, собаче!... Здається й робиш гірко, а їсти все ж таки приходиться не солодко!—на сам кінець промовив, підіймаючись з місця, Здоровець.

— А здорово ти мене там, дядьку, по пиці змазав,—ні з того, ні з сього, замітив, дивлячись на нього з усмішкою, Пархом.

— Моли Бога, дурню, що батюшка там був, а то я б тебе одвозив за любого світа... А ще й письменний!.. в школу ходив! Перевчився на один бік, дурень!—сердито промовив, йдучи од нього, Здоровець.

— Ех, Остафій, Остафій!.. От тобі й свиснув тисячі у грапа... Не треба тобі тепер ні „тисячів“, ні „хатини начорно“... Все тлінь і суєта-суєт!..—меланхолично проговорив отець Панкратій, вертаючись до хати з Снісаренком.

Павло Мосієвич, йдучи з ним поруч, не чув про що балакав зтиха батюшка. Тихесенько наспівуючи хрипливеньким баском стихиру „плачу і ридаю егда по-

мишляю смерть“, він в одне і теж врем'я рахував: скільки „трояк“ залишиться в його кешені, дякуючи такій несподіваній оказії, як нагла смерть рядчика-Осташки.

— Ей, Іване!.. Чуєш ти, позакладало тобі, чи що?! доносився з того боку яра голос Гайдамаки. Протри лиш свої баньки: дивись он баби пішли з мішками!.. Дивись як слід за ними, а то вони переполовинять наші триски!.. Коли хоч одна триска пропаде—з жалування одверну!.. Чув?!..



Що склалося Абасу.

..... У такій атмосфері не то що жити, а навіть чеврити неможна! Кожний живий організм, хоч по малу, а всеж таки мусить умірати в нім.

Навкруги по стінах тюремної камери у два ряди прибиті нари, на котрих, а по часті й під котрими, розкидавшись на якомусь то лахмітті, хрпуть, сопуть і тяжко дишуть,—вдихаючи отруту в свої груди,—її невірні кватиранти. Було далеко вже за північ... У коридорі, біля кожних дверей, змінили вартових.

Душно... Нестерпуче душно! А за ґратчастими вікнами бешкетує, розпалившись, хуртовина: то заґрюкотить зірвавшись з петель дверьми в старенькім дровнику, то заґремить об старий, місцями проїдений ржою, залізний дах тюрми, а найчастіше з якимсь то жалібним визком добивається в тюремне вікно, инколи шпурляючи у нього, немов би то піском, зірваним з даху обмерзлим снігом.

Порою в камері вчувається щось таке, що заразом скидається й на плач і на звіряче скиглення: то продертий в уголку,—наліплений в тім місці де було вибите віконне скло,—промаслений папір одмовляє на уїдливе чіпляння до нього розлютовавшоїся хуртовини.

Прибита до стіни, аж надто закоптіла, підсліпа лямпа, ледве освічуючи навкруг себе невеличке місце, ще більш всила темноту проміж нар. У кутку, накрита якимсь лахміттям, стоїть тюремна „парашка“ і виділяючи з себе міазму, ще більш труїть і без того вже аж надто отруїну атмосферу. Порою чутно як хто небудь забалака уві сні,

починаючи, разом з цим, шкромадити і голову і тіло. Не дримає, видно, сирій паразит, вільно нагулюючи собі тіло на змордованій рештанській плоті. Ой яка терпляча ця сибірна „шпанка!“*) Як не худа вона сама по собі, а всеж таки годує,—і сито іноді годує,—не тільки цих сиріх, але й наданих правом „мундірних“ паразитів.

Як раз під лямпою, на верхній полиці нар, спить, скорчившись, старий Абас. Завжди хмуре, з запалими очима і характерним карлючкуватим носом, лице його, часом освічує, як начеб то невідходя до нього, щаслива усмішка. Диво! Ніхто ніколи не помічав усмішки у Абаса, а тут—на ж тобі! спить і усміхається, та ще так щасливо усміхається!

Еге ж!.. Гарний, незвичайний сон сниться йому сю ніч! Давно вже Абас нічого такого не бачив уві сні... стало вже було потроху забуватися все, а тут—наж тобі! Немов би то живе знов проходить перед очима усе те, що було для нього найдорожчим на цім світі.

.....
..... Громаду похмурих сиріх велитнів гір перетяла вузенька долина, мало що не скрізь укрита різноманітними пересмугами,—де вже зовсім доспілого, а де ще доспіваючого,—хліба. Зеленасто-бура смуга проса чергувалася на ній з золотисто-жовтим квадратом готової уже під серп пшениці, до котрої в свою чергу, горнувся вузенький, ярко-зелений, веселий муріжок, геть чисто весь затканий дрібними різнобарвими квітками. Гірний сніговий бурчак, вередливо звиваючись, кілька раз уже трохи не щільно підбігав то до правого то до лівого кряжу обступивших його гір, немов би пробуючи: чи не можна б їх де небудь розсунути хоч трохи, щоб дати простір, аж надто стиснутій ними, долині.

На небі—а ні жодної хмарки! Низове південне сонце не світить, а заливає світлом і долину, і ближні, де-не-де

*) Так звуть в Сібірі рештантів.

при низу вкриті кущами дерну, сірі скелі, і далекі-далекі, ледве видні, мов серпанком оповиті, гірні купи... І над усім цим, царює своєю громадою, ледве примітний, сивоголовий Ельборус—патріарха. Розпалене повітря немов би то тремтить переливаючись у соняшнім промінні. Тихо... а в цій тиші ціла гармонія різноманітних голосів, котра більш, чи менш виразно виділя з себе стрекотання коників, дзюркотання бурчака та клекіт; ледве примітної в небесній вишині, орлиної парі.

На самому березі потока, на камені, сидить Абас,—сидить, дивиться і очей не може одірвать од золотого поля зовсім уже допілої пшениці.

— Слава Богу!.. слава Богу,—инколи зтиха промовляє він хитаючи головою.

Давно вже, ще за ті часи, коли він Абас бігав отаким точнісінько босоногим шибеником-хлопчаком, яким гаса тепер по березі потока його синок чорномазий Гвідо,—була така благодать на урожай, як в цьому році. Обрадовані Божою ласкою, тоді ж на громаді, постановили старики пристати до упертого бажання свого князя-дідича і дати йому замість п'ятого—четвертий сніп із урожаю,—та так з тих пір аж досі і завелась та „четвертина“, не дивлячись на те, що після того, хлібного, випадали іноді й майже голодні роки.

— А всеж таки слава Тобі Господеві!—ще раз, зовсім уже голосно, промовив, піднявшись з каменю, Абас. Зірвавши декільки колосків, він злегенька помняв їх проміж долонями, продув губами шолупину і перекинувши з руки на-руку чисте, буйне зерно, взяв частину його в рот, пожував трохи і з певністю проговоривши: пора... як раз пора!—знов сів на камінь.

— Тату!... тату!.. Ось іди подивись яка велика, страшенна жаба!—підбіг до нього мокрий чисто весь забризканий болотом, його первісток, любчик Гвідо.

— Ну й нехай собі, не руш,—байдуже промовив Абас, ласкаво поглажуючи сина по чорнявій стриженій головці.

— Ні, ти подивися, тату!—чіпляється до нього, сіпаючи за руку, хлоп'я.— Ось подивись лиш, як вона скидається на Ксандро!

— На якого Ксандро? Що ти торочиш, дурне?—осміхается щасливий Абас, дивлячись ласкаво на дитину. А у того оченята іскряться, ніздрі тремтять і все обличчя ходором, як кажуть, ходе.. Дуже вже, мабуть, незвичайна попалась йому жаба!

— Як на якого Ксандро?!—кида він непевний погляд на батька. На нашого Ксандро, на княжеського управителя! Такі ж очі, як у нього і также страшенно роздимає щокі!.. Иди, мерщій, подивися, а потім я її улуцу оцією камінюкою!—показав він стиснуту в рученяті уважисту гальку.

— За що-ж ти хочеш убить її?

— А за те, що вона скидається на Ксандро!

— А ти хіба не любиш Ксандро?

— За віщо-ж його любить, тату? За те хіба, що він що року забирає з нашої ниви що найкращі снопи пшениці? Чи може за те, що він кричав позавчора на матір?— і дитячі очі блиснули злобою.

— Дурне, дурне ти хлоп'я—ласково промовив Абас. Хіба ж Ксандро од себе все це робе? Він тільки вчиняє волю князя.

— Виходить і снопи від нас забирати—теж князь велить?

— Князь.

— Гм... Навіщо ж, тату, князю наші снопи? Адже-ж він і так багатий, як той царь у казці, про котрого розказувала мені мамка.

— Піди ж ти... мабуть що так треба. Не з нас одних бере,—смутно промовив Абас і на його обличчі промайнула тінь.

— Так треба... так треба...—проказує за ним непевно Гвідо, наморщивши дитячий лоб. Здається якась то зовсім нова думка, котра по своєму об'єму не могла, як слід, улаштуватись в дитячій голові,—не даючи йому спокою, надавала лицю його зовсім невластивий йому вираз.

— Це через те так виходить, тату,—роз'язує на сам кінець важке питання Гвідо,—що Бог князя любить, а нас ні!

— Що ти там торочиш, дурник! Бог однаково всіх любе, бо всі ми Його діти.

— Ні, тату,—не зупиняється дитина,—колиб Бог всіх однаково любив, то й нам дав би стільки коней, овець і кіз,—скільки дав Він князю і наказав би йому заборонить своєму Ксандро забирать від нас снопи.

— Годі Гвідо! не знать що мелеш,—зупинив Абас річ хлопчика.—Ходім, пора до дому... мате, мабуть, прождалась уже нас з обідом... Ходім, синку, ходім!—при цьому він ласково притулив його до себе.

--- Стривай, тату... я все ж таки шпурну камінюкою в оту огидну жабалуху!—і Гвідо, викрутившись з рук батька, стрілою мчавсь уже до того місця, де запримітив жабу.

— Ну та й моторний же бісів шибеник! Чи бач вибрикує? Неначе молоде козля!—любуючись ним, подумав Абас і пересунувши з боку-на-бік шапку-кучму помалу почвалав до дому.

.....
Застогнав уві сні Абас, конвульсійно заворушив руками і ногами і зразу перевернувся на другий бік. І дивна річ зкоїлась з його обличчям! Тепер уже замість усмішки все воно похмурилось і тремтить у конвульсіях, а надто муску-

ли щелепів... Губи тіпаються, а з грудей, з якимсь то хриплим свистом, виривається тяжке дихання... Страшно тепер обличчя у Абаса! Раз тільки й бачили його таким... Це було тоді, як він кинувся на конвойного салдата за те, що той штовхнув його, ні за що, прикладом в спину.

..... Невеселий, сумний малюнок змінив чудовий сон Абаса.....

..... Все таж вузька розкішна долина, на котрій вже замість нив, що хвилювались золотистим морем, як загравав з ними вітрець,—скрізь виднілись, густо розкидані купками, снопи зжатої пшениці.

На цей раз чудне щось коїться в цьому рідному Абасові куточку.

Як раз край того каменя, на котрому сидів він, зібралась величезна товпа його односельчан. Тут були мужики жінки, виростки, діди і декілька зовсім ще малюків, між котрими був і його чорномазий Гвідо. Вся ця товпа була чимсь зрушена, ворожка протів чого, або когось успособлена і час од часу все більше й більше бурилась проміж себс, про що ясно нагадував глухий, ледве здержуемий го-мін, инколи зупиняемий верескливим голосом, сивого як лунь старого Дідо.

Аж ось разом, начеб то по чієму небудь владному мановенію, всі вмент притихли встромивши очі туди, куди показувала їм тремтяча рука старого Дідо.

На другій, протівулежній стороні долини зва узгір'я показалися два вершники, котрі гнали навзаводи прямісінько на товпу.

— Ну, от воно... починається,— ледве промовив старий Дідо, зсунувши на перенісся свої сиві, кущами нависші на запалі очі, брови.

Як потривожений рій знов загула, немов би занімала на

яку хвилину, збурена товпа і плавом попливла на зустріч вершникам, що вихрем наближалися до неї.

— Стійте, нерозумні!.. Куди пішли?!—пронизливо крикнув Дідо, підвівши руки до гори.—Навіщо йти самим на зустріч своєму безголов'ю?.. Воно нас не мине і так!..

Товпа зупинилася і знов притихла.

— Слухайте всі мене... в останнє вам кажу!—кричав він тремтячим голосом, махаючи над головою своєю кучмою.—Пам'ятайте про одне: гнів то злий порадник,—казав він далі трохи спокійніше.—Кинджала волосом не перетнуть і не злякать коси травою! Легко викликать пожеар, але трудно погасить його... Найкращим буде за для всіх нас, коли скінчим це діло добровільно, миром...

— Еге ж, добре тобі, Дідо, точити яси про той мир! нечемно перебив його молодий Ванчо.—Тобі що?.. Живеш ти в свого князя, як у Бога за пазухою! А от колиб з тебе почали вижимать так піт, як вижимає його з нас твій князь...

— Де там у біса піт?! Тепер вже кров задумали з нас вижать!!...—з одчаєм викрикнув чийсь верескливий голос.

— Та що там його слухать?! Він, як і Ксандро, той же прислужник князя! Чим гірше буде нам, тим краще буде для них з квязем!!.—знов загула, неприязно успособлена до Дідо, невільна у своїх вчинках, зворушена товпа.

— Тепер хай буде Божа воля... я все сказав. Не моя вина, коли вчиниться гріх,—тихо промовив старий Дідо, безсило опускаючись на землю.

Тим часом зворушена товпа оточила прискакавших вершників. Привезені ними вісти, ще більш її розлютовали.. Всі кричали і ніхто не слухав. Инколи тільки з усього цього гвалтування вихоплявся крик одного з пригнавших вершників, котрий старавсь у щоб не стало звернуть увагу товпи на те, про що він з таким запалом казав їй.

— Он... гляньте— дико скрикнув він зірвавши шапку з голови і показуючи нею в ту сторону звідкіль сами вони тільки що пригнали. При цьому, як він, так і прискакавший з ним товариш, вмент зкочили з своїх неосідланих, зтомлених шкапів.

Зза тогож самого узгір'я, зза котрого незабаром перед цим пригнали гінці, витягнувшись по вузькій дорозі, в порядку, посувався невеличкий загін піхоти, скидавшийся здалеку, дякуючи ярко блискавшим на сонці штикам, на якийсь невиданий ще гад, з настобурченою, мов на їжаку, щетиною. По обидва боки його, просто по стерні, шерегою посувалася конниця. Бистрі очі верховинців зараз же впізнали червоні випуски й околиці козаків.

Позад загону, поскрипуючи немазаними колісьми, витягнувшись у довгу лінію, тяглись запряжені буйволами гарби, а зпереду його тройка різномастних коней повагом тягла, підіймаючи з дороги куряву, незграбний екіпаж.

Чим більше все це наближалось до товпи, тим більше бурилася ця,—й без того вже аж надто збурена,—товпа. Инколи, хоч і з трудом, але всеж таки можна було розібрати загальний її настрій, котрий визначався в ідиничних, то там, то тут викрикуємих фразах: „глядіть же— всі як один! не видавать нікого!“, „тепер не одстоїм, поступимся,—далі ще гірш буде!..“, „ми й так живем надголодь— а йому все мало!.. забажалось третій сніп з нас брати?!.“

— Хай того за живіт скоріш візьме, хто згодиться йому оддати третій сніп!!.—ревло в відповід на це разом кілька голосів.

— Послухайте мене!.. Ще раз прошу вас,—почав був знову, підіймаючись, старий Дідо... Але ніхто його не слухав вже...

— Говори ти за всіх, Ванчо!.. і ти Абас!.. кричала товпа указуючи на них пальцями. Говоріть все, як слід!.. Ми всі за вами, як один!..

А невеличка купка салдат, виблискуючи своєю сталевною щетиною, хоч помалу, а все ж таки наближалась. Вершники, котрі їхали обополі її вже в розсип, необминаючи топтали кіньми смуги де-де незжатого ще проса.

Помірі того, як наближавсь загін, товпу запосідала якась зла на все готовая, рішучість. Здавалось кожний з тих хто був в ній серцем почував, що ні вона,—ні та, що грізно настовбурчила свою сталеву щетину, позбавлена своєї волі невеличка лава війська,—одна другій не уступлять і проміж них повстане, те чого боявсь так старий Дідо.

..... А старий довгим життям своїм навчений. Дідо—був правий: голова безсилою сказалась перед муром! Вчинилось щось страшенно дике і звіряче... Вчинився наперед угаданий ним гріх, що тяжкою вагою придушив усе село на довгі роки.

Ярко, на віки невитравно врізався у голові Абаса один тільки, самий страшний для нього, мент тії кривавиці, що тоді вчинилась.

В той мент, як козаки, виповняючи наказ, почали нагаями розганять товпу, його Гвідо, вихопившись з материних рук, підняв камінюку і шпурнув нею в близько наскочившого на них бородатого донця. Хвацько пущена камінюка влучила прямісінько в голову козакові. Метнулося було під захист матері хлоп'я, але вмент опинилося під кінськими ногами... Світу Божого не вздрівши кинулася бідолажна мати до оборони свого первака... Одна рука її конвульсійно учепилась у поводдя а другою вона силкувалась витягти з під нігконя блідого, півживого, окровавленого Гвідо... Свиснула нагайка—і розкрояне обличчя сердеги-матері вмент облилося кров'ю.

Не крикнув, а якось по звірячому завив, уздрівши все це, Абас. Мент—і він як кішка враз зскачів на коня до козака. Блиснуло на сонці лезво кинджала і по саму ручку встромилось межплечі, не сподівав-

шогося на такий кінець, бородатого донця... Як він так і вбитий ним козак—разом впали з коня...

Це було не мов би то сигналом до початку тієї кривавиці, котра зараз же розпочалася...

Звірем заревла збожевівівша товпа і лавою посунула на трьох. приїхавших у екипажій близьче всіх стоявщих коло неї, чиновників. Один з них, ховаючись під захист приведенного ними війська, махнув над головою білою ширінкою... Почувсь якийсь то хриплий крик, счевидно крик команди, слід за котрим страшна сталева щетина, що так яскраво виблискнувала проти сонця, прилягла, направившись прямісінько на сунувшу на неї лавою товпу... Ще один зловіщий окрик і... гримнув перший випал...

... Що було далі—Абас мало уже що тямив... Почував тільки, що чимсь то дуже боляче ударило його по боку і у слід за цим, у той мент, як він зібравши всі останні сили пробував піднятися на ноги—стукнуло ще по голові, та так стукнуло, що йому здалось начеб то з очей його бризнули різноцвітчасті іскри і все стало навпаки: навколо стоячі скелі—геть піднялись угору, а небо—спустилося на землю і наче виступивше з берегів блакитне море поняло своєю прозорою хвилею, як його Абаса так і все те, що було навкруги його і злегенька колихаючи, мало по малу, все далі й далі відносило от того місця, де тільки що счинилася кривава драма...

Прийшов до пам'яті Абас в лікарні. Перше, що очунивши почув він, так це нестерпучу біль у боці, котра не давала йому а ні хвилини супокою. Трое переломлених ребер давали себе в знаки. Не дивлячись на це розкrojана шаблею голова, ступнево і без устанку, пригадувала хворому все те, що зкоїлося з ним в той незабутній для нього день.

Все згадав Абас, про все розміркував і в його серцеві, мимоволі, зародився жаль: чому Бог не був остільки

милосердим до нього, що не допустив того, щоб все з ним зкінчилось там... в долині, в ту страшну годину.

А що ж було з ним потім?.. Потім... старались його вилічить, поставити на ноги... навіщо? На те щоб спомогти спевнитись правосуду, котрий зваживши його провину, присудив його, опираючись на ті закони, котрі були заведені на той час в їх краю,— на смертельну кару. На цей присуд запов з гори милостивий вирок: одірвавши його од рідної сем'ї, од рідних, любих йому гор,—заслати на вічну каторгу в холодну, сувору, самим Господом забуту, далеку країну.

Що було для нього кращим: перше, чи друге... смерть, чи каторга?—Його про це не запитали.....

..... Жалібно застогнав, засовався уві сні Абас... Ненароком якось перевернувся лицем до підсліпої лампи, котра необережно освітила ярко блиснувшу під тманим її світом, видавлену з його очей химерним сном, мабуть останню вже, сльозу.....



Про що розповідало море.

Тихий-тихий вечір. Сховалось сонце. В важкім повітрі почувалось щось чудне. За гори по небу випливала величезна олов'яна хмара і мов та лява сунулась на море, немов би перш бажаючи покрити собою старий приморський город, з його щоденним клопотом. Все наче-б то притихло сподіваючись на щось... Одно тільки синє море злегесенька хвилюється і хвилями своїми б'ючись об берег обмурований, одноманітно і жалібно шумить.

Присів я трохи відпочити на березі, заслухався прибою й ніби задрімав під одноманітний його плеск... І диво дивне сталося зі мною: здалось мені, що море не шумить, а стиха, сумно само з собою розмовляє про минуле, немов само собі пригадує про те, чому воно було колись то свідком.

Заслухавсь я і зацікавивсь знехотя його розмовою.

Багато знає синє море з того, що вже давним давно минуло. Так давно, що кільки де-не-де залишило свої сліди, такі, наприклад, як руїни тієї башти, що бійницями своїми не одну уже сотню років на нього сумно позирає. В ній тепер по вечерах оркестра грає, а колись, хоч і давним-давно, вона була оплотом Генуезцям, всесвітнім крамарям і дукарям. Та... все пройшло! Уже й з Генці тільки назвиско залишилось...

„Все йде, все минає“...

Віки минули—все змінилось: і городом і баштою тією заволоділи бусурмени, зробивши в нім невідьничий головний ринок.

Скільки горя, скільки муки, скільки зойків чуло море від тих невільників—сердег? А що уже поту на галерах, та сліз з очей їх полилось,—про те і згадувати тяжко!

Хто-ж були ті невільники? Хто-ж були ті бранці й бранки? Який народ, яка країна сердег в це пекло постачала?

Здебільш Україна-Русь дітей своїх туди давала як охвіру: за волю, віру і... дурний свій хист! Вона бач все у спільку лізла: то до Ляха, то до Турка, а більш всього до Москаля.

— Дурна, дурна,—гомонило море,—багато придбалала? багато взяла? На сам кінець з дурним Зіньком весь мир здивувала: з Москалем у спільці і йому на радість Ляха задавила... Та й тільки то? Зінькові ж хоч пам'ятник поставила „єдіная і неделімая Росія“, а тебе ж чим віддячила вона? Тільки й того, що декого з твоїх дітей в свою рідню перевернула, панів між ними наплодила, зробила з них „помешіков“ й степи твої неоглядні загарбавши, мов власне своє добре на вік роздарувала... Та ще кому? Хоч би-ж твоїм таки перевертням за дідівські та батьківські заслуги,—а то Німоті, Грекам, а найбільш своїм „підніжкам престола“, що сіпали тебе та рвали мов ті пси!

Ой Боже милий! Скільки ж крові пролила Україна-Русь за вольну волю!... Коли-б земля ту кров звернула, то степом річка-б простяглась, не менша, як Дніпро-Славута!...

— І що ж з усього того вийшло? Чим скінчилась боротьба?

Нічого і нічим!

Все те, за що славетні прадіди терпіли муки, за що на тортури, на кару твердо йшли, за віщо голови і животи свої складали,—дурні батьки і їх мізерні діти занедбали, пригноблені, і повернули в ні ві що!

Мізерні правнуки славетних прадідів завзятих! У що ви обернулись? В покірних, лагідних челядників того уряду, в

чіїх руках волочите тепер своє безщаснее життя!... Віддали на охвіру „благонадійности похвальній“: народність, прадідівську славу і рідні звичаї свої... Вже скоро й мову оддасте; ту саму мову якою і Москаль і Лях колись користувався...

Якої-ж нагороди за все це сподівались ви для себе? Гадали мабуть так, що за покірність та лагоду насиплють вам повнісінькі кишені „земних блах“,—а вийшло що й очкур останій з вас зняли!

Лях і Москаль покірність люблять. Перший через цю покірність з живих вас жили витягав, а другий краще умудрився: на сам кінець добрався до вашої душі... Що подіеш? Навіть скаржитись не можна: не хто небудь це витвора,—не Бритт, не Німець і не Турок, а свій-же брат єдинокровний, єдиновірний Слав'янин!

Це не те, що у Врешені на Ляха Німець напосів! Там можна на весь світ було кричати! Та й кричали ж?! Не тільки Лях, але й Москаль кричав, що вчинок той до Бога „вопієт“! А на нього сам Бог „вопить“,—та... він того не чує!

Чудно робиться на світі... Чи так воно й далі буде?

Ні, не повинно цьому статись! Не може бути, щоб народ, який служив оплотом іншим, перевівся ні на що! Не може бути, щоб від нього загарбали його добро: міцний дух, живучі сили і все його життя!

Навіщо ж він боровсь за волю? Навіщо віру боронив? Навіщо він конав в неволі? Навіщо кров'ю поливав лани, степи широкополі?... Невже тільки на те, щоб дати можливість панувать другим? О, ні! То була-б така неправда, що розсілася-б земля і гори рушилися-б предковічні! Оттоді-б уже й каміння „возопило“!!..

..... Скінчило море свою мову...

— „Аміні! Да будет так“ загуркотіло небо,—мигнувши блискавкою грізно.

..... Залунав над морем грім... За гори зірвалась
буря...

І зашуміло синє море, а далі заревло мов дикий звір!
І чулась в реві тім погроза...

Кому?

Неправді і всьому тому, що неправдою існує!!.

1903 р. 15 червня.
Г. Феодосія.



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 01325 3615

Filed by Preservation NEH 1994

**DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD**

A solid black rectangular redaction box covering the bottom portion of the text.

